
The Institute of Mediaeval Studies
LIBRARY
Toronto, Ontario

Р. Ю. Виппер

Иван Грозный



ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ДЕЛЬФИН“
1922



Р. В. Ц. Москва. Вх. № 839. Отпечатано в колич. 3000 экз.

1-я Типография МСНХ. Арендатор С. Я. Цузмер. Армянский пер., д. 6.

1. Шестнадцатый век.

С той поры, как татары разгромили Суздальскую и Киевскую Русь (1237—1239 г.), а франко-итальянские крестоносцы потеряли Иерусалим (1244), Азия не переставала высылать новые и новые массы кочевников на Европу. Никогда разбойничьи народы так не давили на промышленные и земледельческие страны Запада, как в конце XV и начале XVI в., когда пал христианский Константинополь, когда турецкие и татарские наездники подступали к Вене и Москве. Никогда в такой мере религия не служила знаком культурного разделения: в то время как среди кочевников от Оби до Атлантического океана, от Оки и Дуная до Индийских вод безраздельно царила вера Мохамеда, христианство было задвинуто в тесный северо-западный угол Европы, сохраняя лишь слабые остатки наследства античного мира.

I.

Военные лагери, крепости и замки кочевников глубоко врезались в области земледельцев и садоводов восточной Европы. Еще дальше заходили вооруженные наместники султана, собиравшие для него дань, его подручные и подзащитные, вожди вольных дружин, татарские ханы и мурзы, хватавшие добычу в виде припасов, предметов роскоши и, наконец, живого товара—уводимых в неволю людей.

Сам он достиг заветной цели неистовых азиатских завоевателей: сел в златоверхом Царьграде, наследником Ромейского Кесаря, водрузил на св. Софии вместо креста полумесяц. Опираясь на большое постоянное войско, силу, о которой тогда и мечтать не могло ни одно европейское правительство, он был бесспорно самым могущественным, можно сказать, единственным императором мира. В качестве верховного халифа, т. е. первосвященника и покровителя верующих его чтили далекие окраины Сибири, Туркестана, Счастливой Аравии, африканского Туниса: есть любопытное известие, относящееся к временам Грозного, что бухарцы и поволж-

ские ногаи прибегали к высокой помощи султана, жалуясь на московских людей, которые в Астрахани затрудняют богомольцев, идущих к Мохамедову гробу. В письме к французскому королю Солиман II (1520—66) называет себя царем царей, князем князей, раздавателем корон мира, тенью Бога в обеих странах света, властителем Черного и Белого моря, Азии и Европы; в это время у турок считалось в подчинении 30 королевств и 8.000 миль берега.

Особенно тяжелый урон терпели европейцы в торговле с богатыми странами Востока, доставлявшими пряности, шелк, слоновую кость. Утвердившись на берегах Леванта, турки отняли у генуэзцев и венецианцев их старые торговые стоянки в Крыму, на Кипре и Родосе, наполнили Средиземное море корсарами и загородили прямой доступ к Персии, Аравии, Индии и Китаю. Захватив в 1517 г. Египет, султан Селим обрезал последнюю нить, которая связывала Венецию с Востоком. Внеевропейские товары поднялись до цен баснословных, а золото из Европы уходило в руки счастливых завоевателей, сидевших у ворот азиатской торговли.

Кочевая Азия точно стиснула европейцев на узкой территории и заставила их сжаться в своей внутренней жизни. В XV веке обедневшая, лишенная золота Европа раздирается междоусобиями: не имея выхода наружу, народы грабят друг друга. С окончанием Столетней войны между Англией и Францией, поразительно бесплодной для обеих сторон, военные наемники, неспособные приняться за мирную работу, продолжают вести мелкую, раздробленную борьбу, истребляют свои силы в гражданских спорах: таковы подвиги арманьяков и „живодеров“ во Франции, такова бесконечная усобица, которая в Англии носит имя войны Алой и Белой Розы. В землях приальпийских и прикарпатских свирепствуют войны гусситские; чешские табориты, прообраз запорожского казачества, здоровые и сильные молодцы, не желающие заниматься правильным трудом, опустошают земли свои и чужие, проживают запасы, накопленные искусством и трудолюбием остального населения; бросая дом и родных, они предпочитают жить товарищескими союзами бессемейных кочевников.

II.

Около 1500 г. европейцы начинают как бы нащупывать пути и средства, чтобы вырваться из тяжелых тисков, в которые христианский мир был задвинут на двести слишком лет азиатскими завоевателями. Шестнадцатый век — время крупных открытий, необыкновенного расцвета европейской предприимчивости, начало нового расширения Европы.

Народы крайнего запада ищут морских обходных путей к дальнему Востоку. У каждой нации вырабатывается своя

специальность в этих поисках. Добиваясь кратчайшего пути, португальцы огибают Африку и первые достигают подлинной Индии. Испанцы, последовавши за кругосветной фантазией итальянского мечтателя Колумба, встречают на своей дороге новый материк и зарываются в сказочные запасы золота Новой Индии. Англичане, принявшись за дело позднее других и стремясь к путям оригинальным, бросаются на север, чтобы обогнуть Европу и Азию с конца, противоположного движению португальцев. В середине XV в. они основывают „общество купцов-искателей для открытия стран, земель и островов, государств и владений неведомых и доселе морским путем не посещаемых“. Первой же экспедицией этого общества явилось путешествие Чанслора, который в 1553 г. был занесен в Белое море, попал в Москву и завязал правильные сношения с московским государством: англичане открыли для себя новую Америку.

Путешествия англичан втянули и русские земли в водоворот открытий. В Англии заметили скоро, что Москва, помимо своего непосредственного значения в торговле, может служить транзитом к Средней Азии, что по Северной Двине, по Волге и Каспийскому морю можно добираться до Туркестана и Бухары, а там и до самой Индии. Та же идея сухопутного переезда через восточную Европу охватывает вообраажение старых руководителей торгового движения, венецианцев, генуэзцев, немецких ганзеатов, оттесняемых более счастливыми конкурентами, избравшими своей стихией бурный океан. Генуэзцы добиваются у Василия III права на проезд по Волге и Каспийскому морю в Индию. Ганзейские купцы пытаются оживить свое былое влияние на Балтийском море и подают руку Москве через Ливонию.

Европа высылает накопившуюся в ней беспокойную вольницу, своих самых непоседливых сынов, даровитых, отчаянно смелых, но неспособных к тихой сосредоточенной работе, искателей золота и редких товаров, беспощадных, искусных воителей, неутомимых „морских волков“. Таковы португальцы Альмейда и Альбукэрк, испанцы Кортес и Писарро, англичане Дрэк и Ралей. За ними следом идут предприниматели другого рода, промышленники и банкиры старой Европы, большие генуэзские и аугсбургские фирмы, Спинолы, Вельзеры, Фуггеры, в качестве кредиторов и посредников новой заморской торговли. Испанское правительство отдает дому Вельзеров на разработку целую область южной Америки, Венецуэлу. Фуггеры забирают в Испании всю добычу ртути для применения в американских серебряных рудниках.

В то время, как западные нации увлечены заокеаническими предприятиями, восточно-христианская Европа занята борьбой со степняками и расширяет беспредельно свои сухопутные владения. Польско-литовское государство забирает

земли когда-то цветущего, потом совершенно опустевшего края Киевской Руси, черноземную полосу по Днестру и Днепру. Московское государство, образовавшееся между Волгой и Окой, быстро охватывает среднее и нижнее Поволжье, подчиняет себе кочевые племена обширных южных равнин, продвигает вперед за Окой полосу земледельческих поселений, а в то же время устремляется к морям. При Иване IV, покорителе Поволжья и первом строителе русского флота, великорусские промышленники, колонизаторы и воители переходят за Камень (Уральский хребет) и основывают русскую Сибирь.

Как в Польше, так и в Москве эпоха расширения выдвинула замечательных политиков: двух Сигизмундов, I и II, и двух Иванов, III и IV. Ивану Грозному, современнику Елизаветы английской, Филиппа II испанского и Вильгельма Оранского, приходится решать военные, административные и международные задачи, похожие на цели создателей новоевропейских держав, но в более трудной обстановке: талантами дипломата и организатора он, может быть, всех их превосходит. Строгановы и Ермак, покорители Сибири, не уступят Вельзерам и Кортесу. Те и другие принадлежат к расе смелых завоевателей, устремившихся на добычу металла, на исследование неизведанных стран, на борьбу с инородцами за новые колонии.

Оба порыва европейцев к расширению - завоевание заморских обеих Индий и сухопутная борьба с турко - татарскими степняками, сопровождаемая усиленной разработкой громадных пустырей,—как нельзя более тесно связаны между собой. Приморские народы, пускавшиеся по Атлантическому и Индийскому океанам, добираются непосредственно до редкостных товаров, пряностей, слоновой кости, фарфора, шелка, золота и серебра. Сбывая их на большом европейском рынке, они заводят себе более роскошную обстановку, поднимают цены на все товары и вызывают зависть других наций, занимающих менее выгодное географическое положение; в то же время их предприятия втягивают в торговый оборот области средней и восточной Европы. Пруссия, Ливония, Австрия, Венгрия, Польша, Литва, Новгородская и Московская Русь доставляют Англии, Франции, Нидерландам, Испании хлеб, кожи, сало, дерево, поташ, селитру, мед, воск, которых не хватает приморским странам.

На западной окраине, обращенной к океану, образовался новый колоссальный международный узел, Антверпен: сюда сходились товары индийского подвоза, фламандской, французской и английской промышленности и сырье восточной Европы. Насколько велика была для восточно-европейцев притягательная сила города, расположенного у выхода широкой многоводной Шельды в открытое море, можно судить

по условиям договора, заключенного Грозным со Швецией в 1557 г.: за право шведских торговцев беспрепятственно ездить через Москву в Индию и Китай, московским купцам предоставлялся проезд через Швецию в Испанию, Францию, Англию, Любок и Антроп“ (т. е. Антверпен)!

III.

В XVI в. борьба со степью в полном разгаре, и успех резко колеблется. В 1528—31 г. г. Солиман Великолепный завоевывает Венгрию и осаждает Вену. Обратно в 1552—6 г.г. Иван IV покоряет Поволжье. В свою очередь на эту великую победу христианско-земледельческого государства мусульманский мир отвечает в 1568—71 г. г. походом турок на Астрахань и сожжением крымскими татарами Москвы.

В трудных почти непрерывных войнах с кочевниками восточно-европейские государства перенимают многие черты устройства противника, и как раз те, которые давали ему перевес, когда он появился впервые на европейской территории. Прежде всего они пользуются живой силой страшного врага. На московскую службу, начиная со средины XV в., переходит множество степных князей со своими свитами; правительство привлекает их богатыми подарками, включает их в аристократию своего двора, награждает поместьями и образует из новообращенных военную границу. При этом стараются сохранить военный пыл конных отрядов, отвлекаемых от их родной стихии и в подражание мусульманскому воинству на обширной окраине степей появляется подвижная конница христианских ополчений. Польско - литовская шляхта, венгерская аристократия, московские служилые люди возникли из такого приспособления к военному порядку, сложившемуся в степных равнинах Азии.

Образцом для военных администраторов служило устройство Турции, где спахии, пожизненные владельцы небольших поместий, были обязаны являться по призыву султана и приводить с собою определенное количество всадников, смотря по размеру доходности имения. Московское правительство, может быть, вернее всех других воспроизводило турецкую систему, когда требовало, чтобы помещики с военной границы являлись „конны, людны и оружны“, когда верстало землей „новиков“, т.-е. помещичьих сыновей по достижении ими зрелости и по мере вступления их на военную службу.

При громадной растянутости фронта от Альп чуть не до Алтая, при невозможности устроить сплошную загородку в виде стены или вала, христианско-земледельческим государствам приходилось строить укрепленные городки, замки и остроги по всей линии, открытой для нападений. Война с кочевниками часто сводилась главным образом к защите кре-

постей, к обороне от осаждающих войск, а отсюда возникла необходимость держать хорошую артиллерию. Шестнадцатый век выделяется своими изобретениями в области огнестрельного оружия. Рядом с тяжелой артиллерией, пушками, появляется легкая, пищали, а с этим вместе создается новая пехота огневых стрелков.

В казанском и астраханском походах Ивана IV (1552—56) пехотные артиллеристы „стрельцы", пока немногие числом, образуют, однако, важную силу. В завоевании Сибири Ермаком (1582—1583) пищальники сыграли решающую роль против многочисленных инородцев, незнакомых с огнестрельным оружием. Осады и взятия крепостей—штурм Белграда (1521 г.) и осада Вены (1531) турками, взятие Казани Иваном IV (1552), двукратное падение Полоцка, переходившего из рук Литвы к Москве (1563) и обратно (1579), яростные атаки русских на Ревель в течение Ливонской войны (1558—1578), осада Баторием Пскова (1581)—составляют характерные и знаменитые эпизоды военной истории того времени. Одно из самых эффектных изобретений — подкоп под городские стены, взрываемые порохом—решил в 1552 г. участь Казани.

IV.

Можно было ожидать, что в борьбе со страшным врагом один общий интерес объединит все восточные государства. Однако, между ними возникало больше трений и соперничества, чем налаживалось союзов и согласия. Дания, Пруссия, Ливония, Польша, Австрия, Венгрия, Москва через Новгород и Нарву стремятся урвать свою долю в золотой добыче, прибывающей из Индии и Америки. Чуть ли не главной целью внешней политики становится приобретение торговых монополий и преимуществ, захват морских портов и выгодных проездов.

В политике государств восточной Европы составлялись своеобразные пары, которые то соединялись, то расходились. Австрия сближалась и соперничала с Венгрией, Польша с Литвой, Литва с Москвой. Постоянно скрещивались в этих группах династические притязания. Принцы германского императорского дома выступали претендентами на польский престол, польско-литовские Ягеллоны искали короны венгерской и чешской, входивших в круг владений австрийских Габсбургов. Московский царь, считавший себя законным властителем „всея Руси", выставляя свою кандидатуру в Литве, которая обладала половиной русских земель. В свою очередь эти притязания вели к соперничеству Москвы с Польшей и вместе к союзу московской династии с другим противником польского государства, австрийскими Габсбургами, а этот союз далее

открывал пути в Москву интернациональной политике римской папской курии.

Сложный клубок международных отношений опутал сетью европейские государства в XVI в. Можно сказать, что со времени падения Константинополя в 1453 г. дипломатия становится в Европе искусством по преимуществу. Правительства выбирают для отправки в миссии к чужим дворам людей особенно бывалых, обладавших различными техническими сведениями: от них требовали подробных известий не только о планах и намерениях высших сфер, двора, при котором они были аккредитованы, но и о внутренней жизни страны, занятиях и нравах народонаселения, о богатстве и производстве, о борьбе партий.

Усиленный спрос на умелых дипломатов создал особую школу и науку. Послы и агенты при миссиях в XVI в. часто выдающиеся бытописатели, географы, этнографы, историки, публицисты, психологи-наблюдатели. Таковы Герберштейн и Флетчер, сочинения которых рисуют обстоятельную картину московского государства в начале и в конце XVI века.

Так как на Западе это была эпоха гуманизма, увлечения образцами античного мира, усиленного изучения греко римских авторов, естественно встретить в литературе путешествий и описаний блестки классицизма. Преклонение перед греко-римской древностью проникает и в Москву; при дворе Ивана IV мы встречаем весьма неожиданную генеалогию: государи московские выводят своего предка Рюрика от легендарного Пруса, брата кесаря Августа.

Среди нового политического мира Европы московскому правительству приходилось развернуть не только военно-административные таланты, но также мастерство в кабинетной борьбе. Грозный царь, его сотрудники и ученики с достоинством выдержали свою трудную роль. У них своя ученость, свои предания, свои оригинальные способы доказательства. Они, правда, придерживались более старой школы „византийского письма“, не знали еще лоска светской рационалистической науки, возобладавшей в западных университетах, но когда нужно было, они умели настойчиво защищать права и притязания своей державы, при чем орудовали историческими ссылками и свидетельствами старых летописей с таким искусством, каким, пожалуй, не располагал никто больше в Европе.

V.

Расширение Европы в обе стороны, за океан и вглубь степей, вооружение больших конных масс, усиленное торговое соперничество европейских государств отражается глубокими переменами в общественном и политическом быту. Здесь

нам, однако, придется высказаться против одного укоренившегося предрассудка.

Принято считать, что с наступлением нового времени рост капитализма, развитие денежного хозяйства выдвигает торгово-промышленную буржуазию в то время, как феодально-рыцарское землевладельческое сословие отступает на второй план. Но дело в том, что к XVI веку такая характеристика решительно неприменима. Напротив, купеческие и судовладельческие союзы терпят целый ряд крупных неудач; всюду почти виден подъем, самоуверенная деятельность воителей-землевладельцев, видно превращение как будто косного и малоподвижного рыцаря в энергичного и расчетливого хозяина сельской экономии.

Ф. Кнапп, исследователь судеб крестьянства в Пруссии, заметил как-то, что прусские юнкеры XVI в. впервые почувствовали в своей крови лихорадку предпринимательства. Тоже самое можно было бы сказать о дворянах Дании, Швеции, Ливонии, Польши, Литвы, Венгрии, Чехии. До XVI в. рыцарь жил большею частью допотопными мелкими средствами в роде судебных штрафов с местного населения, пошлин, сборов за помол, неподвижных аренд с крестьян. Теперь новая торговая политика, выгоды сбыта заграницу произведений земледелия и скотоводства и их продажи приморским странам дали ему неожиданный толчек. Владельцы имений не могли не прозреть, какой в их руках великолепный капитал: они принимаются сами хозяйничать, вместо сдачи в аренду увеличивать господскую запашку, округлять имения, разрабатывать пустыри. Слагается фигура помещика, каким его знает Новое время.

Отстраняя посредников в виде городских торговцев, выталкивая с рынка конкуренцию крестьян, принимаются бароны и рыцари сами за торговлю сельско-хозяйственными продуктами. Датское дворянство откровенно нарушает старые городские привилегии, отнимает у бюргеров торговлю хлебом и скотом, заводит прямые сношения с Голландией и Ганзейским союзом, строит собственные корабли, на которых пытается вывозить деревенские товары заграницу. Еще недавно фактическим хозяином на земле был крестьянин; недаром XIV столетие в Польше слывет золотым веком крестьянства, а Казимир III королем хлопов. Теперь руководящую роль в сельско хозяйственном производстве решительно забирает помещик; разбивая рамки обычного права, объявляя экономическую войну своему старому сотруднику, крестьянину, рыцари-хозяева принимаются систематически теснить его, отбирают у него всеми способами землю; пользуясь своим научным перевесом, искусно применяя изученные в университетах ухищрения римского права, они идут безпощадными шагами к захвату монополии на земельную собственность.

чтобы свести крестьян на положение зависимых арендаторов и бесправных наемников. Экономическая борьба нередко прямо переходит в войну классов: помещики со своими слугами вторгаются в хутора мелких деревенских владельцев, сносят их дворы, сажают своих холопов на места вольных крестьян.

Но особенно утесняют они крестьянство рабочей системой. Опять нам приходитя возражать здесь против одного укоренившегося предрассудка: будто крепостное право есть создание варварских Средних веков, оставшееся в виде досадного наследства Новому времени. Напротив, мы утверждаем, что те формы, которые дожили до XIX в., и которые мы знаем за крепостное право, беспощадное, суровое, требовательное, изнурительное, принадлежат исключительно Новому времени.

Средние века знали барщины и оброки, знали пошлины и поборы рыцаря, опиравшиеся на старые местные обычаи и оставлявшие крестьянину много простора и самостоятельности. Другое дело крепостное право, вступившее в жизнь именно в XVI в. в силу государственного законодательства. Введенное систематическими мерами дворянских парламентов, оно уничтожило вовсе свободу передвижения сельских рабочих, заставило всех жителей деревень рабстать в узко отграниченных территориях, а главное, крайне повысило „трудовую повинность". Суть нового „настоящего" крепостного права в этом крайнем напряжении работы; в качестве террористического орудия производства оно похоже на самые злые формы машинно-индустриального строя XIX века. Как в новейшее время тэйлоризм—последнее слово закрепощения труда на службе неистового фабричного производства, подгоняемого все больше и больше мировой конкуренцией, так точно и крепостное деревенское право вводилось в XVI веке под давлением международной политики, которая представляла поле все возрастающего спора за привозное золото.

Введение крепостного права в прибалтийских странах, в Польше, Чехо-моравии, Венгрии—великий успех преуспевающего дворянства, которое давит на государственную власть, творит и поворачивает закон в свою пользу. Еще дальше идут его победы: в иных странах оно образует рыцарские и шляхетские республики, сводит монархию на призрачную тень; и как раз это—страны наибольшего процветания крепостного права: Дания, Венгрия, Польша, Померания и Лифляндия, последние две—автономные области под слабым протекторатом чужих государей.

VI.

Дворянство в XVI веке переживает свой золотой век, эпоху подъема и тревожной нервной деятельности. Оно соз-

дает парламентские порядки, ограничивает власть государя, укрепляет свое господство бюрократическим строем, выдвигает публицистов, защищающих идею „правового“, т. е. конституционного государства. Из его среды выходят мореплаватели и колонизаторы, искатели торговых путей, исследователи и завоеватели заокеанических стран, политические теоретики, историки и ораторы, агрономы, романисты, богословы и философы.

Юристы и политики дворянства окружены ореолом либерализма, прославления свободы, иногда с оттенком сурового подвижнического республиканства. Они гремят против деспотизма, против тирании одного единственного. Они ревниво следят, чтобы не поднялся против них монарх-народолюбец, чтобы не было сближения носителя верховной власти с низшими классами. Дворянские публицисты, „монархомахи“ XVI в., придали монархической идее тот ненавистный облик цезаризма, который переходит по наследству к революционерам новейшего времени, к менее оригинальным, но более крикливым поколениям XVIII и XIX вв.

Но в политической обстановке Запада, среди воинственных корпораций и сословий, закрепленных грамот и привилегий, бесконечных сеймовых прений, и нет места демократической монархии; положение государя, который решился бы устремиться в народническую политику, крайне рискованно. Чтобы вступить на такой путь, нужен человек гениальной дерзости; предприятие его будет по неизбежности граничить с преступлением. Тут превращение коронованного лица в злодейского нарушителя божеских и человеческих начал получится силой вещей, а так как тирания „народолюбца“ должна направиться в первую очередь на дворянство, на завоеванную и закрепленную им конституционную свободу, то публицистам, защищающим закон и право, не трудно будет осудить его перед потомством, представить исчадием ада, заклеймить на веки греховную демагогию.

В истории XVI в. такой фигурой, окруженной зловещим светом, является Христиерн II датский (родился в 1481, правил 1513—23). Он перешел в память последующих поколений под именем „северного Нерона“, как виновник Стокгольмской кровавой бани, т. е. казни недовольных его воцарением шведских сеньеров. Публицисты и историки, принадлежавшие к господствующему классу, постарались очернить его имя и закрыть все другие его дела этой мрачной страницей. Их озлобление слишком понятно. В эпоху безраздельного господства дворянского сословия Христиерн II пытался завести королевский бессословный даровой суд; он решился беспощадно бороться с морским разбоем, которому отдавались со страстью прибрежные рыцари, и среди них епископы вельможного происхождения.

И не даром впоследствии, когда свергнутый высшими сословиями Христиерн сидел в тюрьме, восстание крестьян и горожан, организованное любекским демагогом Вулленвебером, провозгласило его, заточника, народным королем. Незадолго до своего падения Христиерн издал, помимо сейма, указ, в котором звучали неслыханные для шляхетского государства слова: „не должно быть продажи людей крестьянкого звания; такой злой, нехристианский обычай, что был доселе в Зеландии, Фальстере и др., чтобы продавать и дарить бедных мужиков и христиан по исповеданию, подобно скоту бессмысленному, должен отныне исчезнуть". Указ остался на бумаге, как бы завещанием просвещенному абсолютизму, наступившему лишь два века спустя; его автора продержали в крепком заключении в течение 36 лет до самой его смерти.

На Западе и не могло быть другой судьбы для попыток народнической политики. Иные условия открывались в пользу демократической монархии в восточно-европейских полуазиатских странах, где верховная власть держала военных в строгой дисциплине. Обратим внимание на факт чрезвычайно знаменательный: в то время, как крепостное право уже с начала XVI века водворяется последовательно в прикарпатских и прибалтийских странах, обладавших конституционным строем, московское государство, управлявшееся самодержавно, до конца столетия остается от него свободным.

Однако, и в московском государстве высшие слои военно-служилого класса, соблазняемые примером соседей, были не прочь составить оппозицию монархии и ограничить ее в свою пользу. Очень понятно, что в ответ на такие замыслы могла легко сложиться политика, напоминавшая действия тиранна-демагога вроде Христиерна II.

2. Наследство Ивана III.

Из всех восточно-европейских народов наибольшее искусство и энергию в борьбе со степью проявили великороссы, организованные в Московскую державу. Здесь, кажется, сама трудность задачи, необычайно опасное положение на угловой юговосточной окраине, создало великолепную школу.

I.

В непрерывной борьбе с Азией и в постоянном соприкосновении с азиатством, Москва естественно проникалась бытом и понятиями Востока. Правда, московские цари любили ссылаться на римских и византийских императоров, на Августа и Константина; но в их придворном быту, в их управлении не было тех республиканских повадок, которые давали себя знать и в языческом Риме, и в христианской Византии. Московское самодержавие походило гораздо более на восточный халифат, на тогдашнюю Турцию. Сравнение с мусульманским востоком постоянно напрашивалось и русским и западным наблюдателям. Иван Пересветов, подававший проекты и записки Ивану IV об уничтожении аристократии и введении неограниченного правления, ссылается на порядки Махмета-султана, считая их почти недосягаемым образцом.

Турция вообще оказывала чарующее действие на Москву. Не даром московское общество было так падко на турецкие моды. Не успеет Стоглавый собор высказаться против надевания „тафей (шапочек) безбожного Махмета“, как уже автору „Бесѣды Валаамскихъ чудотворцевъ“ приходится стыдить русских людей за ношение шлыков и портов (т. е. полного костюма) турецких, а выписанный в Москву византийский патриот Максим Грек с сокрушением пишет на родину своим друзьям, что скоро москвичи, пожалуй, наденут и чалмы. Эти увлечения восточным одеянием связаны с резкими переменами в быту. Запрещая новый головной убор, Стоглав упоминает, что в Москве появился чуждый христианству обычай входить в церковь в шапках.

Иностранцы видели в сходстве Москвы с Турцией главное основание для нападок на русские порядки. Французский либеральный писатель времен опричнины Грозного находит, что во всех государствах существуют учреждения для охраны закона, для защиты народа от тираннии, „кромѣ Московіи и Турціи, которые должно почитать не государствами, но соединеніями разбойниковъ“. На ту же тему очень любят говорить и английские наблюдатели, Горсей и Флетчер. Для них система московского управления сводится к произвольным капризным действиям, граничащим нередко с самодурством и не встречающим сопротивления в варварском обществе, которое такого управления стоит.

Не случайно Москва XV и XVI вв. тянулась к подражанию Турции: в нем чувствовалось тяготение к Востоку старинному, сказывалась длинная цепь исторических преданий. Оттоманская Порта была только последним повторением того устройства, которое принесли с собой кочевники из Средней Азии, а это устройство имело за собой многовековой опыт. Военные громады, управляемые гениальными вождями в роде Чингис-хана и Тимура, перенимали технику покоряемых ими культурных государств: и артиллерию с осадным искусством китайцев, и торговые уставы старинных вавилонских царей, и государственную почту с дорожной системой древнеперсидских Ахеменидов.

Между прочим, устройство дорог и ямской гоньбы, служившей наблюдению за краями не вполне замиренными, а также пересылке грамот и проезду послов, выделяет Московскую державу из всех европейских государств того времени. Быстрота сообщений и роскошество перевозочных средств изумляли иностранцев. Герберштейн передает, что его служитель проехал из Новгорода в Москву 600 верст в 72 часа, имея возможность ехать без остановки при смене лошадей; когда он требовал 12 лошадей, ямщик приводил ему тридцать и еще больше. Правительство знало цену этого административного орудия. Иван III в завещании детям требует сохранения ям (почтовых станций) и подвод на тех дорогах, которые были заведены при нем. В начале Ливонской войны Иван Грозный располагал еще великолепной организацией официальной почты, и об ней с увлечением рассказывает нюренбергская газета 1561 г. со слов датской дипломатической миссии, только что прибывшей из Москвы: у царя в Ливонии, под Ревелем и Ригой агенты, которые в 5 дней доставляют сведения в Москву, так что двор Московский осведомлен обо всем, что происходит у Балтики и следит внимательно за делами Западной Европы.

В Москве XV—XVI вв. нас поражает еще одна черта государственной техники, напоминающая приемы древневосточных держав. Подобно завоевателям ассирийским и пер-

сидским, московские строители имели обыкновение подготовлять занятие новой территории постройкой грозной крепости на краю границы или даже на самой вражеской земле. Так Иван III в 1492 г. выстроил Ивангород против Нарвы, подготовляя завоевание финского цобережья, к которому приступил его внук, Грозный, 66 лет спустя. Преемники Ивана III таким же приемом подвигаются к Казани. Василий III строит Васильсурск, Иван IV—Свияжск. Имея в виду покорение западно-двинского края, московские воеводы в 1535 г. строят другой Ивангород на Себеже, а в 1536 г. Заволочье и Велиж; в 1537 г. при заключении перемирия с Литвою эти крепости, в качестве построенных на чужой земле, были уступлены; потом, отнявши у Литвы Полоцкий край, Грозный возобновляет опять принадлежавшие раньше русским укрепления.

Из факта этой планомерной постройки видно, что проекты завоеваний разрабатывались при московском дворе задолго до кампаний и, без сомнения, с картами в руках (в одной из бумаг дипломатической переписки с Данией упоминается „козмография“).

Придворные обычаи, династическая политика все нас переносит в Азию. Знаменитое местничество, счеты родовитых семей в дворцовых церемониях и военных назначениях, как убедительно показал Ф. И. Леонтозич, прямо идет из родового быта кочевников также, как оттуда идет обычай „обелять“ от повинностей и налогов родство и близких властителю людей, и в первую голову духовенство, причем в Москву переходит и азиатское слово „тархан“, т. е. вольноотпущенный для обозначения привилегированных слоев общества.

Наконец, обычаи Востока напоминает суровый порядок, который московские правители провели внутри своей династии. В Москве не допускалось ничего похожего на домашний совет единокровных князей: после ряда упорных столкновений установилась безусловная власть представителя старшей линии, а все другие отпрыски династии, в том числе родные братья великого князя, сошли на положение обыкновенных придворных чинов. Беспощадно истребляли правящие государи своих ближайших родственников, чтобы устранить соперников себе и своему потомству. При Иване III заточение только что коронованного внука Дмитрия и потом его загадочная смерть, при Василии III казнь его родного брата Андрея Старицкого, при Иване IV. смерть двоюродного брата Владимира Андреевича напоминают худшие страницы придворной истории восточных султанств. Невольно начинаешь думать, что и царевич Дмитрий, погибший в 1591 году при весьма странных обстоятельствах, стал жертвой не „коварного“ Бориса, как этого хотелось врагам династии Го-

дуновых, и как это нравилось позднейшим драматургам, а „тихого“ Федора Ивановича, который вовсе не намерен был сделаться последним царем династрии, а напротив, предполагал для укрепления своей власти устранить своего младшего брата, и притом избавиться от него во время, пока около него не успела составиться политическая партия.

II.

Азиатское влияние переплеталось в Москве со старой классической школой, доставшейся великорусским вассалам Золотой Орды в византийской ученой оправе. Духовенство, чуть ли не единственно образованный класс на Руси, питалось литературой Византии и устраивало свою жизнь и жизнь паствы своей согласно византийскому законодательству. Преклонение пред авторитетом последнего было необычайно. В 1531 г. во время суда над постриженным в монахи князем-ученым Вассианом Патрикеевым митрополит Даниил, находивший главную вину подсудимого в произвольном обращении с Кормчей книгой, т. е. византийским церковным судебником, произнес многознаменательные слова: „а изъ той книги никто не могъ измѣнить или поколебать что-либо, начиная отъ седьмого собора до крещенія Руси, и въ нашей землѣ та книга болѣе 500 лѣтъ сохраняетъ церковь и спасаетъ христіанъ и до нынѣшняго царя и великаго князя Василія Ивановича не была ни отъ кого поколеблена“.

Выступая в качестве идеального советника верховной власти, подготовляя правительству своих учеников для письмоводства и консультации, духовенство служило проводником юридических идей и административной мудрости Византии. Церковный судебник (Номоканон, Кормчая), в котором заключалось и без того много гражданских законов, был окружен в библиотеках ученых иерархов подбором самых разнообразных светских уставов и законодательных правил, извлеченных из разных времен Византии от IV до XII века. Чего тут только не было! С Кормчей вместе переписывали так наз. судебник Константина Великого, постановления Юстиниана, между ними его законы о земледельцах, Эклогу иконоборцев Льва Исавра и Константина Копронима, законы Льва Философа, Прохирон Василия Македонянина (носивший даже обруселое название „градского закона“), новеллы царей Исаака, Алексея и Мануила Комненов. Это был громадный и очень удобный справочник, служивший в то же время вдохновителем идей для законодателя.

Византийское законодательство изучали необычайно тщательно, дорожили каждой буквой, вникали в частности текста с настоящей филологической остротой и придирчиво-

стью. Вот пример. Вассиан, защитник аскетической теории нестяжательности духовенства, усердно ищет в греческом подлиннике доказательства несовместимости монашеского быта с богатством и крупным землевладением; он пересматривает параграфы законов с величайшим вниманием: как понимать оригинальные греческие слова agros и proasteion, которые по русски переводятся „селом“? После основательной проверки он приходит к тому заключению, что их надо толковать не в смысле вотчины, населенной крестьянами, а в смысле небольшого участка земли, обрабатываемого монахами.

Со второй половины XV в. в Москве заметно особенно усиленное изучение византийских судебников, летописных сводов, исторических хроник и богословских сочинений. Московская интеллигенция переживает, подобно западной германо-романской, своего рода Возрождение. Но в то время, как на западе зачитываются писателями более ранней классической эпохи, на Руси остаются верны своим старым средневековым византийским учителям. В одном сходятся восточные и западные гуманисты: в высокой оценке новых греческих ученых, в которых видят как бы живой Балканский обломок Древнего мира. Между тем как в Италии глубоким почетом окружают Виссариона и Гемиста Плетона в качестве знатоков древнегреческой литературы, в Москву выписывают с Афона Максима Грека, который за время пребывания на Руси (1518—56) становится направителем ученых интересов и средоточием живых философских и богословских споров.

В правительственной практике Ивана III невозможно не видеть сильнейшего влияния византийских образцов и примеров, сведения о которых прошли через ученую среду. Только из кругов образованных юристов могла выйти идея объединения действующих законов в виде систематического судебника, только хорошо вышколенная группа законоведов способна была редактировать такой свод; и только вдохновляясь преданиями византийского законодательства, могли они притти к той мысли, что каждое царствование должно иметь свой судебник. А московские судебники, великокняжеский 1497 г. и царский 1550 г., производили на иностранцев, склонных вообще видеть во всем обиходе московитов только варварство, неожиданное впечатление культурной работы, отчетливой, ясной и продуманной. Герберштейн в описании Московии, которую он посетил в 1525 г., считает нужным привести выдержки из судебника Ивана III: он забывает прибавить, что в это время ни на его родине, в Германии, ни вообще где-либо на западе не было ничего подобного; судьи изнывали под тяжестью запутанных неприведенных в систему правовых положений разных времен, которые они стремились напрасно связать и осмыслить своими универси-

тетскими воспоминаниями из области изучения римского права.

Особенно поразительным казалось московское судопроизводство англичанам, у которых суд, построенный на прецедентах, на старых решениях. хранившихся в архивах, требовал громадной памяти от судей и адвокатов и создавал благодаря этому обширный класс профессиональных ходатаев. Уже первый из описавших Московию англичан, Чанслор, одобряет русское судопроизводство в том отношении, что здесь нет юристов, которые бы вели процессы на суде; каждый сам правит свое дело и подает челобития и ответы письменно, противно английскому судопроизводству.

И не только идея объединенного свода судебных законов, но и самый дух римского права, проникающий византийские кодексы, оказал свое воздействие на московских законоведов, а через них и на другие круги читающего общества. Конечно, оттуда, из римской юридической сокровищницы взята идея естественного прирожденного человеку права, которую каждый из публицистов XVI в. выражает на свой манер. Курбский, стараясь защитить право боярина на отъезд, говорит о непохвальном обращении царя, который „затворилъ русскую землю, сирѣчь свободное естество человѣческое аки во адовѣ твердынѣ“. Пересветов особенно горячо требует истребления рабства и в предоставлении всем людям свободы видит осуществление „правды“, которая в его глазах несравненно выше „вѣры“ (догматических положений). У него идеальный государь, чертами которого он облекает Махмет-салтана, освобождая кабальных и обращая их в свою гвардию, творит Божью волю, то, что Бог любит, утешает Бога сердечной радостью. Пересветов рассказывает даже что-то в роде Фаустовой легенды, как дьявол искусил Адама после изгнания из рая, взявши с него запись и забравши его в неволю; как Бог сжалился над человеком, вывел его из ада и изодрал запись: всякий, кто пытается вновь взять с людей запись, т. е. закабалить их, служит дьяволу. Наконец, еретик-рационалист Матвей Башкин считает рабство противным христианскому учению, которое в свою очередь в его глазах совпадает с разумом.

III.

Без сомнения, московским правителям много помогло счастье. За них была наличность притягательного центра, изумительное географическое положение Москвы. За них была живучесть династии. Наконец, могущественную поддержку им оказывала великая просвещенная корпорация страны, духовенство. Но ведь без счастья, без игры случая

вообще нет удачи. Однако не бывает удачи без уменья приспособляться к счастливых условиям, т. е. без великого политического искусства.

Московские правители сумели использовать все выгоды своего положения. Трудно найти другую государственную систему, которая бы в такой мере овладела человеческим материалом для определенной цели. Никто из европейских государей XVI в. не был способен на военную мобилизацию такого размаха, как Иван IV в начале Ливонской войны, когда двинуты были к Балтийскому побережью конные массы с Волги, из ногайских степей и даже с Терека. А его искусство в орудовании многоразличными инородцами, его уменье подчинить себе такие несходные общественные силы, как демократическое крестьянство Севера и посаженное на южной и западной окраине военно-служилое сословие!

Уверенность приемов, необычайное упорство в преследовании целей поражает особенно в иностранных сношениях. Тут все казалось ясно и давно определено: и теория власти, и титулы, и притязания, и привычка вести переговоры с иностранцами, и сознание достоинства государства, подкрепляемое историческими и богословскими ссылками. Без всякого колебания, московское правительство заявляет свое право на господство над всею Русью: Киев, Смоленск, Полоцк считаются отчиной московских правителей, отлично сохраняющих в памяти свое происхождение от Мономаха. При помощи летописей, постоянно извлекаемых из государственного архива, они устанавливают твердо и неоспоримо, что Дерпт — русский город Юрьев, выстроенный в XI в. Ярославом, носившим христианское имя Юрия.

Современный нам западный церковный историк, рассказывая о необычайно обстоятельном наказе, который был дан Иваном III русским послам, отправленным к папе в 1499 г. делает такое признание: „ничего не желая предоставлять случаю, эти московиты изучали все затрагивавшие их дела необычайно обстоятельно, рассматривали всегда со всех возможных точек зрения, применяли твердо установленные принципы, вводили свои крепкие предания, искали отчетливых целей, постоянно и исключительно были озабочены сохранением и усилением своего великого положения“.

Иезуит о. Пирлинг, которому принадлежат эти слова, не даром приходит к такому заключению. На всем протяжении своего труда, охватывающего около 150 лет дипломатических сношений Рима с Москвой, ему приходится в сущности под разными видами изображать одно и тоже состязание, разыгрывающееся между двумя соперниками, с постоянным перевесом того из них, которого принято считать варваром. Московский государь обращается к римскому престолу в очень важных для него дипломатических усложнениях, добивается

заступничества папы; при этом он вызывает у папы сильнейшую надежду на подчинение Москвы римскому верховенству. Святой престол не один раз поддается на соблазнительный план унии с Востоком, надеясь в свою очередь ослепить „московита“ блестящей короной; он неизменно терпит поражение, встречая холодность Москвы, самоуверенность властителя, который не нуждается ни в каком высшем авторитете. Культурнейшая сила Европы оказывается побежденной „дикарями“.

Но, может быть, и нам следует покинуть эту слишком упрощенную и поверхностную мысль о культурной грубости русских XV—XVI вв.? Отсталые в технике, они не могут быть названы неразвитыми варварами в политике. И как раз эти века выставили в лице Ивана III (род. 1440, ум. 1505 г.) и Ивана IV (род. 1530, ум. 1584 г.) двух гениальных организаторов и вождей крупнейшей державы своего времени.

IV.

Если на протяжении русской истории кто заслужил имени Великого, так это Иван III. Те формы управления, которые мы встречаем в Москве XVI в., устройство высших совещательных органов, приказы, раздача поместий и определение порядка службы, система налогов, судопроизводство, теория власти, обряд венчания, даже титул царя—все восходит к нему. Иван III—родоначальник, устроитель, изобретатель учреждений, церемониала, обстановки власти, остро проницательный, переимчивый, тактичный и гибкий. Никогда он не пренебрегает мелочами, все он умеет поставить на службу возвеличения государственной идеи. Выдавая замуж свою дочь за великого князя литовского, он вменяет ей в строжайшую обязанность соблюдать православие, а для ее свиты пишет подробный наказ, как вести себя в церкви и во дворце: ведь им придется представлять заграницей достоинство московской державы!

При Иване III определился круг международных сношений, и установились линии поведения с каждой державой: как быть с папою, как быть с германским императором, с Венгрией, Турцией, Данией, Швецией, Пруссией, Польшей, Ливонией. По взгляду московского двора, с польско-литовским государством не может быть вечного мира, а только перемирие, так как западный сосед неправильно владеет русскими землями „отчиной московского государя“, от которой он никогда не может отказаться. Ливония не считается самостоятельной страной: с ее правительством не может быть переговоров, как водится между равными силами. Со Швецией московский царь не удостоивает сноситься лично: это—дело наместника новгородского, пограничного со шведами. Нан-

более любопытны отношения к Дании, Турции и папе, дружественные связи с которыми представляли для восточнорусского государства важное значение.

Москва сблизилась с Данией, в результате своего устремления к Балтике. Уже в войне, которую вел Иван III за Ливонию, ясно выразилось желание докончить дело, начатое покорением Новгорода в 1478 г.: отстранить ганзейское купечество, державшее в своих руках всю торговлю с русскими землями и открыть непосредственный обмен с западом. Из государств, прилегающих к Балтийскому морю, Польша и Швеция были прямыми соперниками Москвы. С отдаленной Данией, напротив, можно было поладить, а ее союз был особенно важен в виду того, что она помещалась у противоположного Руси узкого конца моря. В XV и XVI вв. Дания обладала южной оконечностью скандинавского полуострова, Сконией, и являлась настоящим государством проливов (Зунда и двух Бельтов): одолев после долгой борьбы Ганзу, она взимала со всех кораблей, выходивших из Балтийского моря, пошлину, составлявшую крупную часть ее бюджета и всегда держала в своих руках возможность запереть главный пролив, Зунд, „морские ворота", как его называет московская дипломатия.

Иван III хорошо понял важность сближения с Данией; заключив в 1493 г. договор с датским королем, он следом за этим дипломатическим актом, закрыл и разгромил ганзейский двор в Новгороде, видимо расчитывая скоро добиться прямого доступа к торговле с Западом. Интересно, что тогда уже появился проект брака московского государя с датской королевной.

Дипломатическая переписка московского двора с Данией, сохранившаяся в Копенгагенском архиве, в высокой мере любопытна. Она показывает, прежде всего, большую выдержку, уверенность и отчетливость московской иностранной политики. Как, напр., обстоятелен договор о наступательно-оборонительном союзе против Швеции и Польши в 1516 г.! Тут московский двор вырабатывает тщательно все условия, касающиеся согласованных военных действий, определяет границы (датский король Христиерн II собирался в это время захватить шведскую корону и следовательно сделаться соседом московского государства), условливается относительно проезда послов, свободного обращения „гостей, купцов и других дельных людей", выдачи должников и преступников.

Новый западный союзник относился к Москве с большим вниманием. Датское правительство находило нужным обучать своих агентов, отправляемых в Москву, русскому языку, и в дипломатических нотах есть просьба найти им учителей среди духовенства; в ответной грамоте назван и преподаватель, предназначенный для датчан, — „доктор

Михаил“. На просьбу датского правительства отпустить в Данию жену посла, взятую им в Москве замуж, последовал отказ. В своем ответе ведомство иностранных дел позволяет себе высказаться в том высокомерно-поучающем тоне, который вообще брала на себя Москва в сношениях с малыми государствами; вместе с тем, оно не прочь щегольнуть своим культурным превосходством, как будто Москва—оплот свободы и естественных прав человеческой личности. „Ино у насъ во всѣхъ нашихъ государствахъ того обычая нѣтъ, что намъ въ неволю свободныхъ людей давати, не токмо нашихъ государствъ людей, но иныхъ земель людей, которые въ нашихъ государствах; а та жонка нашихъ государствъ, и намъ тое жонки твоему человѣку Сидору въ неволю отпустити непригоже“.

Большое дипломатическое искусство проявил Иван III в попытках сближения с Турцией. Здесь существовали исторические грани, создававшие не малые трудности. Православная Москва считала себя наследницей низвергнутой турками Византии. Западные властители для того, чтобы приобрести московскую помощь против Турции, готовы были торжественно признать права великого князя на Константинополь. Восторженные греки, мечтавшие о возрождении Византии, и их московские ученики сложили знаменитую теорию о Москве-третьем Риме. Казалось бы, между Турцией и Москвой поднимаются непреодолимые преграды. И однако Москве нужна была богословская опора Афонских монастырей, находившихся в подданстве Турции. Сближали Оттоманскую порту с Москвой и торговые интересы. Когда турки завладели Крымом и вытеснили оттуда генуэзцев, им очень важно было завести прямой обмен с Москвой: в свою очередь, великий князь был заинтересован в том, чтобы найти поддержку против крымского хана у его верховного государя, султана турецкого.

Отсюда смелый и оригинальный шаг Ивана III—отправить в 1493 г. посла в Константинополь. Василий III идет по пути, намеченному отцом: в 1512 г. в Царьград к турскому султану Салимшаху (Селиму I) едет московский посол с грамотами „о любви“. В 1515 г. русское посольство вывозит из Афона с согласия турецкого султана знаменитого Максима Грека. Властители Запада, и особенно папа напрасно обольщали себя надеждой увлечь московского государя идеей крестового похода против неверных.

И еще раз ошибались они, когда думали, что можно соблазнить московского великого князя предложением ему короны от имени вечной римской империи. Однако именно тем, что Москва поддерживала при западных дворах эти заблуждения, удавалось завести дружбу с непримиримыми противниками Турции, Римом и Австрией. Союз с австрий-

скими Габсбургами был нужен против Польши, а в лице папы московское правительство очень рано усмотрело арбитра на случай важных усложнений с западными католическими державами. В конце правления Ивана III папа Александр Борджа хлопочет о примирении польско-литовского государства с Москвой; при этом он делает попытку склонить Ивана III к союзу с другими монархами для изгнания турок из Европы. Ради переговоров в Рим едут московские послы, грек Димитрий Ралев и Митрофан Карачаров. Это, впрочем, не первые русские дипломатические агенты в Италии. Уже в 1474 г. там видели Толбузина, который получил поручение набрать в Венеции художников, ремесленников горноделов, оружейных мастеров.

Русские дипломаты в Италии поражали всех своей требовательностью в вопросах этикета: они никогда и ни за что не соглашались уступить кому-либо первое место в придворных церемониях, на приемах, в церкви. Если они не получали гарантии, что им будет предоставлено первое место, они предпочитали вовсе не являться на прием; а если, прибывши в церковь, находили на лучшем месте впереди себя послов других держав, немедленно уезжали.

Это поведение русских послов заграницей рисует нам целую картину. Конечно, они руководились очень точной и неумолимой инструкцией, полученной в Москве, и здесь мы опять узнаем Ивана III, с его настойчивой заботой о сохранении достоинства московской державы.

V.

Немыслимо себе представить ведение сложной иностранной политики без особого состава опытных дельцов, из которых правительство могло набирать уполномоченных для отправки заграницу и специалистов для ведения переговоров с приезжающими иностранными посольствами. Старые дружинники, во главе которых стояли бояре, получившие военное воспитание, не годились для этой цели. Необходимо было обращаться к церковной школе, откуда и выходили дьяки и подьячие, вполне соответствующие западно-европейским клирикам, ученикам университетов, заполнявшим королевские канцелярии.

Возвышение дьячества начинается при Иване III. В XVI в. иностранцев поражает развитие при московском дворе письменного делопроизводства. Особенно бросается им в глаза обширность центрального военно-административного управления, которое в Москве называлось Разрядом или Большим Разрядом, и которое посторонние наблюдатели обозначали иногда государственной канцелярией.

В Москве старались закреплять акты ежедневной государственной жизни подробными и точными протоколами. Государя сопровождает в поход разрядный дьяк со своей канцелярией. Он держит в своих руках список служебных мест, распределение должностей и снаряжений, опись наград и ведет дневник государева похода. Есть основание думать, что в московском Разряде составлялись также официальные летописи государственных происшествий.

Как все это напоминает практику древнеперсидского государства! Великому царю, по описанию греков, сопутствует в походах часть канцелярии, которая озабочена историографией предприятия и бухгалтерским его протоколированием.

Для исторической и статистической основательности московской бюрократии очень характерно то обстоятельство, что московские государи поручили дьякам Разряда составить подробные генеалогические списки своего собственного княжеского рода с присоединением родословных подчиненных князей, а также выдающегося боярства, находившегося на их службе. Этот государственный родословец, по мнению Н. Лихачева, составлен при Иване IV в 1555 г., но опирается на изыскания, сделанные задолго раньше, и составляет результат сложной и старательной архивной работы, которая обязана была связать происхождение русских князей с историей римских кесарей.

В таких документах учено-бюрократического творчества много крепкой уверенности в себе и сознания собственного достоинства. Московский двор, московское державное управление выработало очень своеобразные приемы, приобрело выразительный, самостоятельный облик и очень дорожило своими церемониальными торжественными формами.

VI.

Характерно выражалась самостоятельность московской державы в ее религиозной политике. Московский государь умел находить спокойное равновесие в трудных вероисповедных вопросах: дружить с Турцией и поддерживать надежды в подчиненных ей греках, не разочаровывать в расчетах на крестовый поход папу и отклонять всякие попытки вовлечения Москвы в унию. Тем большее мастерство требовалось от правительства, что иностранные сношения по церковным вопросам создавали немалые затруднения внутри. Когда папский легат, сопровождавший в 1472 г. византийскую царевну Софию Палеолог, собирался въехать в Москву, предшествуемый латинским крестом, митрополит заявил, что уедет немедленно другими воротами из Москвы. А с собственной церковью великому князю приходилось соблюдать

большую осторожность: нельзя было пренебречь ни ее богатствами, ни ее школой, из которой выходили образованные чиновники, ни ее нравственной поддержкой: ведь никто иной, как представители церкви изготовили теорию божественности власти и постоянно готовы были подновлять ее.

При Иване III остро ставятся те самые вопросы, которые одновременно на Западе решала реформация: переход церковных и особенно монастырских имуществ в руки государства, независимость церкви от светской власти, свободное толкование основ религиозной истины. Образуются две партии, осифлян и заволжских старцев, весьма напоминающие католиков и протестантов эпохи начала церковных разногласий.

Иван III стоял очень близко к протестантскому решению вопроса о церковных имуществах на манер Англии или Швеции. На соборе 1503 г., когда защитники монастырского землевладения большею частью разъехались, он позволил, вернее сказать, поручил знаменитому вождю партии нестяжателей, Нилу Сорскому, сказать горячую речь против мирских богатств церкви. Однако правительство удержалось от разрыва с могущественным консервативным направлением. Оно понимало, что заволжцы, превосходя противников литературными и ораторскими талантами, совсем не были политиками; они могли сулить в будущем только мирный анархизм, раздробление по сектам, разброд мысли. Иван III ограничился тем, что не давал сторонников „бедной церкви" в обиду осифлянским инквизиторам, сохраняя в лице нестяжателей угрозу против притязаний могущественной консервативной партии. В том же духе действовали его преемники: при Василии III митрополитом московским становится то прогрессивный, склонный к заволжцам Варлаам, то консервативный Даниил, ревностный ученик Иосифа Волоцкого; при Иване IV опять поднимается острый вопрос о монастырских имуществах, ставится на очередь отмена монастырских привилегий.

Сохраняя нейтральное положение между партиями в церковных спорах, московский двор пришел к религиозной терпимости, тем более поразительной, что это был век, когда на Западе разгорались жесточайшие богословские споры, когда за догматические отклонения целые группы населения были лишаемы гражданских прав, когда правительства усердно занимались религиозным сыском, и когда процветала инквизиция.

Недаром новгородский ученый архиепископ Геннадий жаловался на попущение, оказываемое при дворе Ивана III еретикам так наз. жидовствующего направления; недаром, взывая к преследованиям, он стыдил московское правительство достойным примером шпанского короля (Фердинанда

Католического 1479—1516), очистившего страну от лжеучений. И недаром про Ивана III рассказывали, что, уже склонившись на уговоры консервативной партии, он ночью опять призвал к себе главу непримиримых, Иосифа Волоцкого, и еще раз, как бы мучимый совестью, спрашивал его: „нѣтъ ли грѣха казнить еретиков смертью?"

Эту черту спокойной сдержанности в догматических разногласиях завещал Иван III своим преемникам. При Иване IV рационализм и мистицизм представителей греко-православного Возрождения привел к учениям, близко напоминавшим передовые протестантские направления Запада; таковы ереси Матвея Башкина, заволжца Артемия, ученика Максима Грека, Феодосия Косого. Несмотря на осуждение Башкина собором 1553 г., правительство нашло достаточным наказать его ссылкой. Другого вольнодумца, Феодорита, Иван IV, после недолгого заточения, послал в 1557 г. в Константинополь, чтобы вести переговоры об испрошении у патриарха утвердительной грамоты в царском сане.

Сравнивая Грозного с Филиппом II испанским (род. 1527 г.) и с современными французскими королями, В. С. Иконников справедливо замечает, что московский царь, в отличие от западных собратьев, не признавал религиозных отступлений равносильными политическим возмущениям. Поэтому совершенно искренно звучит замечание Ивана Грозного в письме к императору Максимилиану II относительно Варфоломеевской резни 1572 г.: „Ты, братъ нашъ дражайшій, скорбишь о кровопролитіи, что у французскаго короля въ его королевствѣ нѣсколько тысячъ перебито вмѣстѣ съ грудными младенцами: христіанскимъ государямъ пригоже скорбѣть, что такое безчеловѣчіе французскій король надъ столькимъ народомъ учинилъ и столько крови безъ ума пролилъ". Эти слова написаны в то самое время, как Филипп II посылал горячее поздравление Карлу IX.

VII.

Блестящее по своей дипломатии, гибкое и искусное в религиозных усложнениях, московское правительство не менее поражает своей социальной политикой, своим уменьем управлять военными массами, дисциплинировать тот самый подвижной беспокойный класс, который в близком соседстве польско-литовского государства сломил все усилия монархии и, утвердивши свою золотую вольность, расстроил в конец государственный организм.

В Польше XV в. был момент, когда, казалось, король извлечет выгоду из вражды между высшим слоем военного класса, панами, и массой мелкого шляхетства. Для того, чтобы установить в стране сильную монархическую власть, король

Казимир IV Ягеллончик обладал всеми нужными качествами: ясным взглядом, политической изворотливостью и энергией. Его искусство, однако, сорвалось на невозможности управиться с тремя нациями, поляками, литовцами и русскими, и на отсутствии у правительства одного притягательного и объединяющего центра. При созыве ополчения, при собирании чрезвычайного налога, король вынужден был входить в соглашение с отдельными областями; прежде чем составить войско, приходилось договариваться в каждой области с особой шляхетской корпорацией. В критический момент, когда армию надо было направить на внешнего врага, шляхта, сознавая себя большой самостоятельной силой, брала королевскую ставку приступом и добивалась привилегий, т. е. закрепляла за собою новые права, освобождаясь от старых обязанностей.

Уступки, сделанные королем панам и шляхте, лишили его власти, а государство целости: оно обратилось в слабый союз областей, внутри которых распоряжались почти независимые крупные и мелкие землевладельцы. Вне шляхты никто не пользовался гражданскими правами: государство не имело финансов, потому что правительство не могло собирать налоги помимо громоздкой системы опроса на сеймах и сеймиках. Оно не могло собирать и войска, потому что шляхта обеспечила себе свободу от обязательной службы. Оно вообще потеряло средства проводить какие-либо реформы. В Польше и во всем ей подражавшей Литве король превратился как бы в президента коллегии вельможных сановников. Вальный сейм, состоявший из панов-рады и посольской (шляхетской) избы, составлял блестящий парад, на котором развертывалась золотая вольность дворянства. Он так же как король, был лишен правительственной силы. Его делопроизводство, его зависимость от областных сеймиков, исключала возможность каких-либо общих решений, и все проекты реформ неизбежно разбивались об его несуразную процедуру.

Ярко обнаружилась роковая неисправимость шляхетской республики в правление Сигизмунда I (1506—48), современника Василия III, и малолетства Ивана IV. Один из искуснейших политиков своего времени, полный оригинальных замыслов, ловкий и неутомимый, Сигизмунд потерпел полную неудачу в своей попытке вернуть короне распоряжение государственной землей и провести обязательную военную повинность шляхты. Также, как Казимир, он попробовал приурочить проведение реформы к созыву всеобщего ополчения, но господствующее сословие было в конец испорчено предшествующими примерами поголовного созыва, которые превращались всегда в торг за вольности. В 1538 г. попытка короля завершилась неслыханным скандалом; созван-

ное для борьбы с Валахией, шляхетское ополчение разошлось по домам, отказавшись принять реформу и ознаменовав свое пребывание в лагере „петушиной войной“. В то же самое царствование шляхта закрепила здание своих вольностей законами, которые доставили ей монополию землевладения и обеспечили ей в лице крестьян постоянных рабочих, вполне подчиненных ее суду и управлению.

Очень важно помнить эти обстоятельства, чтобы оценить по достоинству влечение к Польше либеральных москвичей вроде князя Курбского. Вместе с тем, нельзя забывать, что московскому правительству приходилось управлять тем же самым мудреным классовым материалом под соблазнительным впечатлением достигнутой шляхтою свободы. Между тем как в соседнем государстве закреплялась могущественная аристократия, в Москве уничтожали возможность ее возникновения. Присоединяя удельные княжества, московский великий князь отнимал у подчинившихся сородичей почву под ногами, заставляя их переезжать в Москву, превращая их в наместников областей и корпусных командиров своей армии. Они вступали в ряды старых слуг, растворялись в их среде, смешивались с обыкновенными придворными. На московской службе они взаимно ослабляли друг друга счетом мест; занятые обереганием родовой чести против представителей других классов, княжеские и старобоярские роды были лишены всякой сплоченности перед лицом верховной власти.

VIII.

Тот удивительный административный порядок, который оставил в руках правительства обширный земельный фонд и позволял передвигать воителей-землевладельцев на любые расстояния и к любому фронту, удерживая их все время в строгом повиновении, мы называем поместной системой. Западу эта форма известна, но она мелькает там только блестящим метеором, как, напр., в англо-норманском государстве Вильгельма Завоевателя, строй которого историки любят изображать в виде „идеального феодализма“. В Московской державе он установился почти на 300 лет.

Поместная система и вполне подчиненная московскому правителю многочисленная конная дворянская армия создавались в то самое время, когда военный строй в польско-литовском государстве готов был совсем развалиться. Интересно видеть, как в Москве намечаются очертания учреждений, подобных польско-литовским, и как они заполняются совершенно иным содержанием, подчиняясь общему строению власти. В Польше и Литве шляхта каждой области составляла самостоятельное общество, имевшее свое парла-

ментское собрание. сеймик, который посылал в общегосударственный сейм депутатов, связывая их решением местной корпорации. В Московском государстве тоже составились уездные собрания служилых людей, но они выражали не автономию, не интересы местных дворянских обществ, а отвечали требованиям государства. образуя круговую поруку при распределении повинностей.

При Иване III в Москве ясно обозначаются оба вида собраний, из которых составился польский и литовский сеймы. В 1471 г., по случаю столкновения с Новгородской республикой, великий князь послал „по всѣ епископы земли своея и по князи и по бояре свои и по воеводы и вся вои свои". Это собрание всего воинства „мысливши не мало" вместе с государем, решает итти походом на Новгород. Во время переговоров Ивана III с Литвой, в Москву приходит грамота „отъ всѣхъ князей и пановъ-рады братьямъ и пріятелямъ нашимъ князьямъ и панамъ-радѣ великаго князя Ивана Васильевича". Великий князь принимает это обозначение для себя за честь и велит выписать боярам своим громкие титулы воевод на манер литовских.

В первом случае перед нами нечто похожее на те лагерные собрания вооруженной шляхты, которые составлялись перед походами Казимира IV на тевтонских рыцарей, и которые как раз послужили началом соединения представителей шляхетства в посольской избе, или нижней палате сейма. Во втором случае паны-рада Литвы, или верхняя палата сейма, сами признали бояр-советников великого княза московского своими братьями, т.-е. похожим на них учреждением. И однако земский собор, предшественником которого было собрание епископов, князей. бояр и всех воинов 1471 г.. и боярская дума, которая обратилась в постоянное совещание при государе по важнейшим политическим делам, не составили ограничения верховной власти. Земский собор сходился по почину и усмотрению правительства, разбирал вопросы, которые ему предлагались, составлялся из лиц по назначению двора: он представлял большой смотр военных и бюрократических кадр, которыми располагало правительство, опрос настроений в его среде.

Последовательно и настойчиво старалось правительство провести чиновничий характер службы помещиков. отбить всякие мысли о привилегиях. Помещик всегда должен находиться в готовности к выступлению в поход, чтобы „биться до смерти с ногайскими или нѣмецкими людьми, не щадя живота". При всяком присоединении новой территории часть ближних в Москве помещиков переселяли на окраину. откуда снимали в свою очередь местных землевладельцев для перемещения в середину или на другую окраину. Правительство не давало установиться среди помещиков духу замкнутой

касты: непрерывно оно вдвигало в состав служилого класса инородцев „поповичей и простое всенародство“, по выражению Курбского, перемешивало людей низкого звания со стариннымн заслуженными и знаменитыми фамильными именами.

Много значило то обстоятельство, что московские правители не скупились на оплату службы, что, помимо вознаграждения землей военно-служилым людям, выдавались денежные оклады, особенно когда дело шло о крупном походе. Такие обширные бюджетные выдачи были не по силам ни одному из государств XVI в. Почти не веришь глазам, читая в дипломатической переписке Василия III с датским королем, что Москва платила датчанам „пѣнязи“, и для какой цели?— чтобы на эту субсидию магистр прусского ордена мог нанять солдат в войне с Польшей, общим врагом Дании и Москвы. Таким образом, мы видим Москву XVI в. в той самой роли, которую берет на себя Англия в отношении материковых государств в XVIII и XIX вв.

Богатства Москвы поражали иностранцев. Приезжие англичане в этот век, по преимуществу жадный до золота, описывают Москву в роде какого-то сказочного американского Перу. За царским обедом (в 1557 г.) „все столы были сервированы сосудами из чистого прекрасного золота: миски, кувшины, блюда, соусники, кубки, бесчисленное множество всяких кружек, из которых многие были усыпаны драгоценными каменьями“. В другой раз тою же зимою, в присутствии царя „обедали 500 иностранцев и 200 русских, и для всех была поставлена золотая посуда, притом столько, сколько можно было уместить, ставя одну подле другой. Кроме того, стояло 4 шкафа, наполненных золотом и серебряной посудой; между прочими предметами 12 серебряных боченков, на краях этих боченков было по 6 золотых обручей“. Об удивительном блеске царской сокровищницы не упускает рассказать и знаменитый английский путешественних в Среднюю Азию, Дженкинсон. Изображая обстановку царского обеда, он упоминает о целом сооружении из золота в 2 аршина длины с вычеканенными на крышке башнями и драконовыми головами.

В то время, как в соседнем польско-литовском государстве шляхта добивается закрепления привилегированной собственности на землю, московское правительство широко и уверенно проводит порядок условного владения за службу, порядок, поражающий своим принципом уравнительных требований, своей беспощадной дисциплиной. Поместная система вступает в жизнь при Иване III вовсе не постепенно, а с какой-то внезапностью, в качестве всесторонне обдуманного государственного нововведения. Быстро исчезают в покоренных областях бывшей Новгородской республики „своеземцы“, т.-е. независимые наследственные владетели, уступая

вновь посаженным помещикам, обязанным конной службой быстро московский правитель распространяет порядок, примененный к завоеванной земле, на вотчинников своей старой территории, подчиняя их той же повинности, какую несли одаренные им помещики.

Получается впечатление, как будто организатор обладал готовыми уставами, чем то в роде твердо выработанного образца. Правда, важное значение, как мы уже видели, имел пример Турции. Но перед нами нечто большее, чем простое подражание; явно сказывается влияние определенного законодательства, которое изучали московские строители военно земельного порядка.

В русской науке уже давно высказана была догадка (К. Неволиным), что раздача поместий заимствована у Византии, тем более, что и слово „поместье" есть буквальный перевод греческого topion, обозначающего временное условное владение, участок, доходы с которого служат жалованьем до тех пор, пока владелец несет обязанности службы. В развитие этой мысли хочется сказать еще больше: московские законоведы, без сомнения, читали, перечитывали очень внимательно, в византийских сводах эпохи исаврийских и македонских императоров, уставы устроения стратиотов, т.-е. воинов—землевладельцев, несших службу пограничной стражи и поселяемых гарнизонами в покоренных областях.

3. Окно в Европу.

Все мастерство, все величие Ивана III, как организатора московской державы, выступает ярко после его смерти, когда при незначительном его преемнике, во время малолетства его внука, правительственная школа, созданная им, действует, как бы сама собою, силою заложенного в ней разума, не имея призванных вождей и руководителей.

I.

При Василии III Москва привлекает усиленное внимание западных держав. Германский император и римский папа наперерыв стараются заинтересовать великого князя московского королевской короной: один расчитывает подвигнуть русских на крестовый поход против турок и в тоже время строит планы раздела польско-литовско-венгерского государства между Австрией и Москвой, другой хлопочет о включении Москвы в церковную унию под верховенством Рима. В планы о воссоединении церквей папа искусно втягивает новых союзников Москвы, приобретенных Иваном III, Данию и Прусский духовно-рыцарский орден. Датский король очень увлечен этой идеей: в 1512 г. он убеждает Василия III отправить своего представителя в Рим на Латеранский собор, созванный папою для укрепления авторитета святого престола.

Запад посылал в Москву людей разнообразных талантов. Вот генуэзец Чентурионе, фантазер в политике и географии, мечтавший о восстановлении торговых сношений своего родного города с дальним востоком через Каспий, Москву, Балтику и Данию; вот Герберштейн, ученый гуманист, сумевший добраться до самых интересных исторических и церковных памятников таинственного восточного царства, ознакомиться с летописями, с судебником и даже с религиозной литературой московского общества.

Все они упирались точно в каменную стену в твердо выработанные и искусно обставленные предания московской дипломатии. Великий князь с благодарностью принимал посредничество папы при заключении перемирий с Литвой; не

забывал никогда своей вечной просьбы присылать ему архитекторов, инженеров, знатоков рудного и металлического дела, художников, оружейников, врачей; но по вопросу, который более всего занимал западно-европейские правительства—о церковном сближении, отвечал неизменно сухо и холодно: московский двор останется верен православию и не желает входить ни в какие переговоры по этому поводу. Прусскому послу Шомбергу в 1517 году московское ведомство иностранных дел заметило с едкой иронией, что он напрасно так старается о чужом деле: настаивая на церковной унии, посол рискует повредить интересам своего же ордена; ведь если папа узнает, что московский государь склонен войти в соглашение с католиками, то побудит его помириться с Польшей, врагом Пруссии.

Время малолетства Ивана IV—критический момент для московского самодержавия, которое Герберштейну показалось властью, не имеющей себе равной на свете. Если монархия в Москве спаслась от крушения, не потерпела ущерба от „вельмож" на манер Польши, то всего более она обязана была этим своей могущественной союзнице, церкви. Иерархи с какой-то особенной горячностью ринулись в политическую борьбу: князья Шуйские, повидимому, расчитывавшие вытеснить правящий дом Калиты, встретили резкий отпор духовенства; в короткий срок трех лет им пришлось свергнуть одного за другим двух митрополитов, Даниила и Иоасафа. Но в результате церковники одержали победу: с 1542 г. начинается митрополитство знаменитого Макария, вышедшего из школы Ивана III (Макарий род. в 1482 г.). Под его влиянием Иван IV объявлен в 1547 г. совершеннолетним, но вместе с тем поставлен под опеку священника Сильвестра, которая еще на шесть лет (1547—53 г.) оставляет в тени неоперившегося, нерасправившего свои гениальные дарования и свои порочные наклонности будущего Грозного.

Десятилетие 1542—53 г. г. можно с известным основанием назвать эпохой клерикальной политики. Все реформы, все вопросы практической жизни получают направление от высшего духовного авторитета, а сама церковь переживает сильные волнения, решает самые сложные вопросы своего быта и вероучения. Ученый и мягко умеренный, но глубоко консервативный Макарий созывает один за другим духовные соборы, привлекая к ним с большим искусством и тактом широкое участие мирян. На собраниях 1547 и 1549 г. г. он достигает принятием целого ряда забытых святых объединения церковной старины в одно великое национальное целое; в то время как под его руководством готовится громадная богословско-космологическая энциклопедия, Четьи Минеи, происходит в 1551 г. Стоглавый собор, похожий многими чертами на одновременный с ним Тридентский, вторая сессия

которого приходится на тот же самый 1551 год. Укрепить расшатавшееся здание церкви строгой дисциплиной духовенства и установлением незыблемых обрядов, повлиять возвышением нравов духовенства на быт мирян, охватить церковным воспитанием все общество—вот цели кружка, группировавшегося около Макария и по задачам близкого к западной „католической реформации“.

Рядом выступают церковные преобразователи более радикальные, стоящие уже на границе уклонения в ересь, как например, ученик Максима Грека Артемий, еще в 1551 г. правительственный кандидат в настоятели Троицкого монастыря, он уже 2 года спустя привлечен по обвинению в слишком свободной критике Писания. Артемий оказывается близко знакомым с настоящими еретиками-рационалистами, которые, в свою очередь, в лице Башкина и Феодосия Косого, представляли два оттенка, умеренный и крайний, соответствующие один протестантизму, другой антитринитаризму.

II.

Церковные увлечения и споры ярко отражают богатство духовной жизни, обилие талантов в среде интеллигенции, окружавшей Ивана IV в первые годы его правления. Они дают, вместе с тем, всем отраслям управления своеобразный отпечаток религиозной торжественности и богословской учености. Так, напр., борьба с дикими степными кочевниками, с Крымом и Казанью, которые после временного разлада при Иване III, опять соединились и повисли угрозой над Москвой, проповедуется в качестве крестового похода против неверных, лежащего великим долгом на совести молодого царя. Сильвестр любит действовать театрально-драматическими внушениями; такой сценой было его первое появление перед молодым царем в 1547 г. на Воробьевых горах во время великого пожара Москвы, когда он старался грозными обличениями вызвать страх и покаяние у семнадцатилетнего Ивана IV. В том же духе построена обстановка Стоглава, парадные собрания с выходами царя и обращениями его к разным сословиям и ко всему народу.

По мнению И. Е. Забелина, никто иной, как Сильвестр, был вдохновителем живописной летописи, исполненной в 1547—52 г. г. на стенах золотой палаты московского дворца. Перед нами целая теория власти в картинах. Царь, юноша с виду, возвеличен в качестве справедливого судьи и бесстрашного воителя: он раздает златицы нищим, из его руки истекает освящающая народ вода, он поборает нечестивых врагов. Сам изобретатель этого наглядно-художественного воспитания воли и чувств царя изображен в виде мудрого пустынника, который поучает молодого властителя.

В картинах власти заметен определенный социальный уклон, и вообще правительство любит оттенять свой демократизм, свое внимание к простому люду, к низшим слоям народа.

Таков основной тон уставных грамот 40—50-х годов, предоставляющих местному населению право выбирать судебную и финансовую администрацию. Необыкновенно выразительны уже самые обращения к обществу: в грамоте Белозерской, например, „великій князь Иванъ Васильевичъ всея Русіи“, после подробного перечисления всех разрядов от „князей и дѣтей боярскихъ“, до „крестьянъ, псарей, перевѣстниковъ, рыболововъ, бобровниковъ и оброчниковъ“, как бы собирает всех в одно целое и еще раз с особым ударением повторяет: ко всѣмъ безомѣны, (т. е. без исключения), чей кто ни буди. Характерно и содержание грамот: входя в интересы и нужды местного населения, жаловавшегося на произвол присылаемых из центра судей и следователей, правительство предлагает двум главным классам общества, детям боярским и крестьянам, чтобы они „межь себя свѣстясь всѣ за одинъ“ выбрали голов; оно считает такое общее собрание вполне естественным и нисколько не сомневается в возможности их согласного действия.

По уставным грамотам видно также, что центральная правительственная канцелярия составляла текст бумаги из выражений челобитной, поданной заинтересованным местным обществом. Следовательно, высшая власть поощряла заявления общественного мнения, выслушивала советы частных людей и приспособлялась к ним.

В современной Ивану IV практике западноевропейских государств едва-ли можно найти что-нибудь хотя отдаленно похожее на открытые, смелые, широко-народные призывы к населению, если не считать неудавшихся попыток датского короля Христиерна II пробить стену дворянских привилегий и облегчить положение крепостных, попыток, заглушенных и восстаниями, и публицистикой „вельмож“.

Очень правдоподобно, что к эпохе управления Сильвестра относится проект реформы, носящий заголовок „Слово къ благохотящимъ царемъ“. Автор проекта—последовательный народник. Он требует от государя равного внимания ко всем подданным „разсмотряя яже ко благополучію всѣмъ сущимъ подъ нимъ, не едиными вельможами еже о управленіи пещися“. Он говорит еще резче: „вельможи бо суть потребни, но ни отъ коихъ же своихъ трудовъ довольствующеся. Въ началѣ же всего потребни суть ратаеве (т. е. крестьяне). Отъ ихъ бо трудовъ есть хлѣбъ, отъ сегоже всѣх благихъ главизна“. Тяжело положение земледельцев, которые не имеют отдыха, изнемогают от поборов, ямской и других повинностей „безпрестани различные ига подъемлютъ“.

Необходимо снять с крестьян налоги и довольствоваться для казны доходами с государевых земель. Далее пусть крестьяне кормят своим трудом служилых людей, бояр, воевод и воинов, причем им должны быть отведены большие участки, „ратаевъ полные жребiи". В особенности следует скинуть с крестьян денежные сборы, так как „ратаеве мучими сребра ради, еже въ царску взимается власть и дается въ раздаянiе вельможамъ и воинамъ на богатство, а не нужда ради".

У автора „Слова" есть свои определенные взгляды и на устройство военно-служилых людей. Он как бы мысленно продолжает и заостряет действующую систему быта помещиков. Работу крестьян он ограничивает доставлением средств существования помещикам: в свою очередь, помещики, лишаясь права собирать с крестьян „серебро", устраняются от хозяйства в деревне и обязуются жить в городе, чтобы лучше выполнять свои обязанности. Проект видит в них только государственных чиновников, но не владетелей доходных участков, и даже не управляющих работой крестьян.

Почти нет сомнения, что автор „Слова" принадлежал к церковным кругам и работал по византийским источникам. Он выдает свою школу прежде всего изложением нового способа межевания земли в виде обмера большими „четырехгранными поприщами". Мы узнаем в них знаменитые квадраты античных римских землемеров, перешедшие по наследству к Византии. Дальше он обнаруживает знакомство именно с наиболее демократическими законами византийских императоров, которые не раз брались защищать крестьянство против захватов со стороны крупных владельцев, принимая на себя роль охранителей „бедных и трудящихся". Автор „Слова" поэтому смело обращается к монарху, ожидая от него также защиты мелкого трудящегося люда.

Как непохож весь склад мысли русского законоведа на юридическое сознание любого публициста из среды польско-литовской шляхты! Там дворяне считали себя прежде всего распорядителями и владетелями работы крестьян: служба в их глазах составляла лишь дополнительное дело, зависящее от свободного согласия „вольного шляхтича". Автор московского проекта готов совсем лишить служилых людей владельческого права и усилить еще более взыскание их повинности, их бессрочную службу на государство. Любопытно, что и там, и здесь публицисты прибегают к документам римского юридического гения, но каждая страна берет себе то, что ей пригодно в авторитетном памятнике. Западные рыцари и в их числе польская шляхта, исполненные либерализма, для обоснования своего права владения, жадно ловят понятие земельной собственности, выработанное римскими юристами эпохи республики. Монархисты и народники Московской Руси

отыскивают подходящие для себя формы и доказательства в законах поздней византийской империи.

И содержание и самый стиль „Слова къ благохотящимъ царямъ“ очень характерны для своей эпохи: на нем видна мера того народничества, которое допускалось правительством, и которое оно охотно слышало от общества. Притом автор „Слова“ вовсе не одинок со своим демократизмом. На Стоглавом соборе один из высших иерархов, бывший митрополит Иоасаф поднимает голос в пользу крестьян, предлагая освободить их от тяжелых „полоняничных“ денег, предназначенных на выкуп пленных в Крыму, и перенести уплату на средства богатых епископов и монастырей.

III.

Первая большая победа Ивана IV, взятие Казани, вполне подготовлена настойчивой и искусной политикой правительства эпохи опеки. Походу 1552 г. предшествует постройка крепости Свияжска в виде форпоста и непосредственной угрозы Казани. У царя в распоряжении великолепная артиллерия, если верить Курбскому, 150 больших орудий. Крепостные стены Казани пали благодаря мастерству служивших у него иностранных техников. Но самое главное: с конца 40-х годов власть занята усилением военных кадр и энергичным развитием великой военно-поместной системы, созданной Иваном III.

С тонким тактом, действуя в своем привычном уравнительном духе, отбирает правящая власть состав государева полка, окружая особу царя группой наиболее преданных ему лиц. В 1550 г. после большого смотра была отделена тысяча „помѣщиковъ дѣтей боярскихъ лучшихъ слугъ“ из провинциальных военных как княжеского, боярского, так и простого дворянского происхождения. В составлении списка обнаружились все достоинства московской правительственной историографии и статистики. Были приняты во внимание старые заслуги, дела отцов. Среди „тысячи“ есть дети испытанных воевод, сыновья пленников несчастливой Оршанской битвы 1514 года, встречаются имена синодика Успенского собора, куда по повелению государя записывались на вечное поминовение воины „храбрствовавшіе и убіенные по благочестію за святыя церкви и за православное христіанство“.

В походе тысячники составляли штаб и гвардию войска: всегда они должны быть готовы на посылки, т. е. исполнять различные поручения; чтобы иметь непосредственно под руками и наилучше вознаградить этот отборный состав администрации, царь испоместил всех, кто не имел подмосковных, владениями в ближайших окрестностях столицы. Высшая власть не забыла потом своих обещаний: на должностях вое-

вод, наместников, послов мы встречаем в последующие годы все те имена, которые были записаны в 1550 г. в Тысячную книгу.

При Иване IV завершается начатое Иваном III превращение всех землевладельцев, вотчинников наравне с помещиками, в подвижное пожизненно служащее воинство. Монархия собирается взять в свое распоряжение все земли, занятые воителями, обратить их всех в государственных ленников. С этою целью Иван IV предлагает Стоглавому собору в 1551 году привести в известность размеры вотчинных и поместных владений, сколько за кем числится земель, и затем произвести вновь поместную разверстку так, чтобы каждый получил по достоинству. Далее — завести вотчинные книги для записи в них всех изменений, происходящих во владении вотчинными землями, а также для описи вотчин, сколько в них пашенной земли, лесов, всяких угодий; царь выражает намерение отписывать различные угодия для поместий в определенных соотношениях, чтобы хозяйство окупало службу; прибыль с поместья должна принадлежать пользователю; однако, он не свободен в распоряжении землей и, если он запустошит пожалованное имение, царь грозит ему опалой. Наконец, собору объявлено, что царь решил послать писцов описать и смерить все государство.

Эти торжественно-властные заявления переносят историка в далекую старину, ко временам блистательных римских цезарей, владевших громадными территориями, сажавших десятки тысяч ветеранов на строго вымеренные участки земли, поручавших ученым землемерам производить подробную опись недвижимости, инвентаря и ценностей. Основательность московской разверстки, точность приемов государственного хозяйства, неуклонная и беспощадная требовательность в делах службы дорисовывается одной частностью, находящейся в числе вопросов, предъявленных Стоглаву. Царь предлагает проект устроения вдовых боярынь. Здесь все предусмотрено: как быть, если вдова убитого воина молода и может выйти замуж; как быть, если у нее подрастают сыновья, какой оклад им приходится получать; какова обязанность второго мужа и вотчима детей первого брака. Высшая власть заботится о том, чтобы земля не уходила от службы, но вместе с тем страхует жизнь служилого воина, обеспечивая пропитание его семьи.

Параграф о вдовых боярынях удивительно напоминает статью одного старинного юридического памятника, именно судебника Хаммураби, где предусмотрена и доля поместья, оставляемого вдове убитого, если у нее на руках малолетний сын, и где объяснена ее роль воспитательницы будущего служилого воина, или „недоросля“, согласно позднейшей московской терминологии.

Занятое развитием подвижности и гибкости армии, состоявшей из помещиков, правительство в то же время озабочено охраной рядового воинства от притеснений со стороны крупных землевладельцев, т. е. командиров, и опять мы вспоминаем вавилонских царей и византийских императоров, которые опекали своих солдат-крестьян от „вельмож“.

В этом смысле мы читаем в летописи под 1556 годом об очень характерной мере, при чем приходится только пожалеть, что до нас не дошел подлинный текст указа. Мы узнаем, что в правительственном кругу обратили внимание на большие злоупотребления в среде служилых людей: вельможи и всякие воины завладели обширными землями и в то же время сократили свои служебные повинности так, что получилось полное несоответствие между службой и вознаграждением за нее в виде земли и жалованья. Поэтому решено произвести обмер земель и у р а в н я т ь п о м е с т ь я, приведя службу в соответствие с вознаграждением, а излишек, который должен был получиться при этом, р а з д е л и т ь н е и м у щ и м.

Трудно выяснить существо реформы 1556 г. но по выражениям летописей видно, что она носила весьма решительный характер. Нас поражают самодержавно-коммунистические выражения, которые применяет летописец: вот значит, какие социальные опыты мог себе позволить московский государь!

Об этом удивительном для иностранцев устройстве обязанных службой землевладельцев повествует с наивным восторгом как раз около времени указа 1556 г. Чанслор, первый из англичан давший описание московских нравов.

„Пусть подумают, как легко здесь найти поместье или землю, и как много здесь людей, обязанных снаряжаться на всякую войну во владениях государя. В э т о й с т р а н е н е т с о б с т в е н н и к о в, но каждый обязан итти по требованию государя, солдат или работник со всеми необходимыми принадлежностями“. Чанслор разсказывает далее, что если помещик умрет без мужских потомков, имение отбирается; если донесут об увечности и неспособности помещика к несению службы, и розыск установит правильность донесения, поместье отбирается у него, за исключением малой доли на прокормление увечного и его жены. „И он не смеет жаловаться на это: в ответ он скажет, что ничего не имеет, а что́ есть у него, то в руке Бога и Государя; но не может он сказать, как обыкновенно говорит англичанин, когда имеет что-либо: „это во власти Бога и моей“. Говорят, что эти люди содержатся в великом страхе и послушании, так что всякий отдает на волю и распоряжение Государя имение, которое он накоплял и возделывал всю жизнь“.

Вдохновляясь все больше и больше своим предметом, Чанслор, повидимому, монархист и консерватор по убеждениям, делает откровенное признание относительно своих со-

отечественников: „О если бы эти дерзкие бунтовщики содержались в таком же подчинении, чтобы они научились своим обязанностям по отношению к королям. Русские не могут сказать, как говорят ленивцы в Англии: я найду короле человека служить вместо себя или проживать с друзьями дома, если есть достаточно денег. Нет, это невозможно в здешней стране; русские должны подавать низкие челобитные о принятии их на службу, и чем чаще кто посылается в войны, тем в большей милости у государя он себя считает".

После такой характеристики Чанслор выводит общее заключение: „если бы русские знали свою силу, никто не мог бы бороться с ними, а от их соседей сохранились бы только кой-какие остатки!".

IV.

Завование Казани и последовавшее затем покорение Поволжья создало в мусульманском мире впечатление могущественного волшебства. Казалось, нет более преграды, которую бы не одолела сила Москвы, и нет конца ее продвижению. Следом за взятием Астрахани в 1554 г. московские воеводы быстро доходят до Кавказа и ставят крепости на Тереке. Одно время власть московскаго правительства простиралась и на часть Закавказья, если судить по тому, что в 1567 году, по ходатайству Дженкинсона, исследователя восточно-азиатских путей, англичанам было разрешено беспошлинно торговать в Казани, Астрахани, Нарве и Дерпте, Булгарии и Шемахе.

В Москве как будто слагается план покончить и с Крымом: одна экспедиция, переправившись через Днепр, нападает на крымских татар с литовской территории, другая пытается пробиться через Перекопский перешеек. Собирая впечатления этих грозных для степного мира лет, московский посланник у ногаев, Мальцев, доносил, что около Астрахани, „все трепещетъ царя-государя, единаго подъ солнцемъ страшила бусурмановъ и латиновъ".

Понятно, что в самой Москве покорение Казани воспринималось, как событие необычайной важности. Западно-европейский историк (Waliszewski) подсмеивается над „азиатской лестью" митрополита Макария, сравнившего Ивана IV при его победоносном возвращении 1552 г. с Александром Невским, Дмитрием Донским, Владимиром Святым, и Константином Великим. Нам эти сравнения не кажутся странными; церковник лишь по своему выразил событие падения грозного оплота крупнейшей разбойничьей орды, благодаря которому московский царь высвободился от близкого нависшего над ним врага и впервые дал в восточных равнинах перевес христианской культуре и государственности.

Между прочим интересно, что московская дипломатия извлекла из покорения Казани и Астрахани новый довод для оправдания перед западными державами царского титула. После брака Ивана III с греческой царевной в 1472 г. в Москве любили настаивать на перенесении титула из Византии. В переговорах с Литвой в 1553 г. решено было изменить теорию: говорить сначала о царском звании Владимира Святого, который на иконах писан царем, потом сослаться на титул и права Мономаха и, наконец, настаивать на том, что по взятии царства Казанского Иван IV сам стал царем.

Не дожидаясь окончания южных походов, Иван IV в 1558 г. начинает новую войну — за обладание Ливонией, войну, которая становится делом его жизни, источником его крайних увлечений, а под конец и трагедией его царствования. В то же самое время он решительно расходится с большинством своих старых советников, с составом опекавшего его фактического регентства. Открывается вполне самостоятельная политика Грозного, сложная и широко раскинутая, где дипломат и стратег ставят непомерные и беспощадные требования стране.

V.

В какой мере Ливонская война вытекает из самостоятельного замысла и воли Ивана IV?—В знаменитом первом письме к Курбскому, писанном в 1564 г., Грозный несколько раз обращается к вопросу о виновниках и противниках великой борьбы. Видно, что западная война составляла самый существенный пункт разногласия между Сильвестром, большинством „избранной рады", с одной стороны, и молодым царем, рвавшимся в бой,—с другой. Но трудно понять, в чем собственно заключалось расхождение.

Нельзя сказать, чтобы политика церковников, среди которой вырос Иван IV, была чужда мысли об усиленном сближении с Европой. Ведь именно правительство его отроческих лет поручило ганноверцу Шлитте набрать в Германии и привезти в Москву целый корпус всякого рода техников, врачей, знатоков горнозаводческого дела, военных специалистов. Не забыты были и планы Ивана III присоединить к московской державе Ливонию. Еще в 1551 г. ливонский представитель в Германии, составил для императора Карла V донесение, в котором умолял спасти от „великой и страшной мощи московита, исполненного жажды захватить Ливонию и приобрести господство на Балтийском море, что неминуемо повлечет за собою подчинение ему всех окружающих стран: Литвы, Польши и Швеции". Интересно, что протестантская Ливония готова была соединиться с католическим императором против общей религиозной опасности, грозившей с Востока. Лифляндец

боится, как бы „в Москву не устремились, под видом ремесленников, военных и техников, самые отчаянные сектанты и еретические общины в роде духоборов, перекрещенцев и т. п., что доставит возможность московскому царю опустошить христианский мир и наполнить его кровавыми трагедиями“. Он не замечает, что в этих словах заключен невольный комплимент религиозной терпимости московской державы сравнительно с западными странами.

Война за обладание Ливонией подготовлялась задолго до 1558 г., как с дипломатической, так и со стратегической стороны. Обеспокоенные угрожающим положением, которое заняла Москва, ливонцы снаряжают одно посольство за другим для заключения прочного мира. Но московский двор ограничивается допущением лишь кратких перемирий. В 1550 г. перемирие было заключено на 5 лет. Когда в 1554 г. снова в Москве появилось посольство и стало просить мира на 50 лет, окольничий Адашев и дьяк Михайлов потребовали приходящейся Москве дани с Ливонии и уплаты недоимок за старые годы. Напрасно изумленные послы ссылались на исконную независимость своей страны. Им показали грамоту, заключенную Москвой с магистром Плеттенбергом в начале XVI в., толкуя ее в смысле вассального подчинения Ливонии. Они услыхали от Адашева весьма определенную историческую справку: „удивительно, какъ это вы не хотите знать, что ваши предки пришли въ Ливонію изъ за моря, вторгнулись въ отчину великихъ князей русскихъ, за что много крови проливалось; не желая видѣть разлитія крови христіанской, предки государевы позволили нѣмцамъ жить въ занятой вами странѣ, но съ условіемъ, чтобы они платили дань великимъ князьямъ; они обѣщаніе свое нарушили, дани не платили; такъ теперь должны заплатить всѣ недоимки“.

Те же послы, направляясь к царской столице, заметили на дороге лихорадочную подготовку к войне: на расстоянии каждых четырех или пяти миль они видели недавно отстроенные ямские дворы с громадными помещениями для лошадей; еще более их поразили целые обозы саней, нагруженных порохом и свинцом, которые тянулись к западной границе.

Это было за 4 года до начала войны. Правительство Сильвестра, Адашева и Курбского явно готовилось к крупной по размерам кампании. В чем же разошелся Иван IV со своими советниками? — Сам он жалуется на то, что его слишком долго удерживали от военного вмешательства и этим создали множество ненужных жертв. Не хочет ли он сказать, что в случае более раннего выступления Москвы можно было предупредить раздел орденских земель между Польшей и Швецией и успеть захватить врасплох наиболее важные приморские города, Ригу и Ревель, которые и составляли ключ к обладанию Ливонией?

Какие же однако, были основания для правительства Сильвестра затягивать дело, если все-таки конечная цель у него состояла в присоединении Ливонии? Грозный пишет, что противники обвиняли его в опустошении Лифляндии; он как бы оправдывается в ведении войны с христианскими государствами, Ливонским орденом и Литвой. Не значит ли это, что церковники не отказались от идеи унии с западно-христианским миром, что они были под известным обаянием объединительной политики римского престола, надеялись на успех своего дипломатического похода против Ливонии, и что напротив светски настроенному уму Ивана IV эти соображения были чужды?

Во всяком случае его темперамент, его порывчатость и самоуверенность очень хорошо заметили и учли на Западе. В приведенном уже нами докладе ливонского посла от 1551 г. говорится: „ныне правящий московит—человек молодой и потому особенно расположенный к войне и кровопролитию". Но в 1551 г. двадцатилетний Иван IV не решался вырваться из под опеки. Семь лет спустя он чувствовал себя вполне свободным и без колебания начал огромное по своему размаху и по своим последствиям предприятие. Иван Грозный имел на своей стороне только одного из участников правящей группы, дьяка Висковатого, руководителя иностранной политики, управлявшего с 1549 г. Посольским приказом.

VI.

Открывая трудную и сложную борьбу за выход к Балтийскому морю, Иван IV возобновлял планы своего великого деда: не даром в письме к Курбскому он постоянно упоминает именно замыслы деда и только раз мимоходом называет отца. Прежде всего он хотел устранить посредничество ганзейцев и завести прямую торговлю с европейскими странами: с этой точки зрения его более всего занимали береговые города Балтики: Нарва, Ревель, Гапсаль, Рига. Но в Москве не упускали и других выгод завоевания: доходности богатого и населенного края, возможности вывоза из страны ремесленников и сельско-хозяйственных рабочих; уже Иван III в войне с орденом сильно налег на захват живой добычи, переселяя, на манер Сеннахериба или Навуходоносора, пленных ливонцев в глубь Московии.

В Москве хорошо знали Ливонию со всеми ее особенностями и слабостями. Великороссы чувствовали себя ближе к этой стране, чем в последующую пору. Не даром для большинства ливонских городов были свои русские названия: Ревель звался Колыванью, Нарва—Ругодивом, Венден—Кесью, Мариенбург—Алыстом, Нейшлос—Сыренском; Вейсенштейн

у Курбского переводится Белым Камнем; Нейгауз превращается в Новгородки. Многие имена переделывались на русский лад: Тольсбург в Толщебор, Зесвеген в Чиствин, Розиттен в Режицу, Лудзен в Лужи.

Крупнейшая из всех войн, веденных русскими, Ливонская война—вместе с тем важное событие общеевропейской истории. Ливония была одной из частей распадающейся германской империи и со своими могущественными епископами, крупным и мелким рыцарством, независимыми городами, придавленным и недовольным крестьянством представляла малое подобие Германии. Такие старые феодальные слабо сплоченные тела неминуемо должны были стать жертвою завоевательных задач государств новых, опиравшихся на господство одной главной народности.

Окружающие Ливонию державы были своеобразно заинтересованы в приобретении юговосточного побережья Балтики. Польша, одинаково с Москвой, нуждалась в выходах к морю для прямых сношений с Западом, для сбыта туда сырья и подвоза оттуда фабрикатов. Два скандинавских государства, Швеция и Дания, собственно не имели непосредственных торговых интересов в Балтийском море. Они скорее выступали привратниками выходов на манер рыцарей, подстерегавших купеческие корабли на переправах и в горных проходах. Выгоды собирания дани с морской торговли были так велики, что между двумя скандинавскими государствами из за Балтики кипела жестокая борьба: особенно обострилась она в семилетней Северной войне 1563—70 г. г., совпадающей с первым периодом Ливонской войны Грозного.

Судьба Ливонии в высокой мере занимала Германию. Ганзейский союз, старая держава, низверженная в конце XV в., пытался вернуть свое торговое положение на востоке и со смешанными чувствами страха и надежды смотрел на поднимающееся могущество Москвы. Интересно наблюдать, как в Германии мечтают опереться на Москву, использовать ее грубую физическую силу и подправиться, омолодиться на ее счет: как в то же время отдельные члены разпадающейся империи боятся неведомой, таинственной восточной громады.

Главная победительница Ганзы, Англия, вторглась в Балтийское море следом за отступающими ганзейцами. Пробивши в 1553 г. путь к Москве через Белое море, англичане обеспечили себе монополию северной торговли в Московском государстве. Не довольствуясь этим, они поставили целью овладеть остальными городами восточной империи. С притязанием на господствующую роль выступили они в 1558 г. в завоеванной Иваном IV Нарве. Между прочим, англичане стали возить сюда свою суконную мануфактуру, выбивая с рынка ганзейцев, торговавших фламандскими сукнами. Это

втягивало в сложную борьбу за Балтийскую торговлю еще одну великую державу, Испанию, в обладании которой находилась Фландрия и ее индустрия. Два соперника Англия и Испания, борьба которых в западных водах Европы заполняет собой XVI в., нашли себе еще одно поле столкновений, в Ливонии.

Московская дипломатия, не имея в числе претендентов на Ливонию настоящих союзников, старалась извлечь выгоду из столкновения соперников за обладание Балтийским морем. Издавна стремилась Москва к сближению с Данией против Швеции; Ивану IV оставалось только возобновить предания политики своего деда, уже в 1493 г. заключившего с Данией договор о разделе орденских владений в Ливонии. Добрые отношения с воинственным предприимчивым, хорошо вооруженным государством противов считались настолько важными, что в 1562—3 г. в Копенгаген ездил лучший дипломат Москвы, дьяк Висковатый, повидимому специалист по датским делам.

VII.

Первая кампания 1558 г. создала на западе впечатление необыкновенного могущества и силы натиска восточно-европейской державы.

В числе разных отзывов об успехах Московского царя в начале Ливонской войны есть письмо к Кальвину французского протестанта Юбера Лангэ, проживавшего в саксонском Виттенберге, документ, может быть, неизвестный русским историкам. В августе 1558 г. Кальвин узнает от своего корреспондента, что „Московитский государь опустошил почти всю Ливонию и взял города Нарву и Дарбат (т. е. Дерпт). Говорят, что совсем недавно он занял Ревель (характерно, как преувеличение русских побед !), большой приморский город с очень удобной и безопасной гаванью. В Любеке снаряжается флот на средства саксонских городов для подания помощи ливонцам. Но это больше ничего, как приготовление легкой добычи Мосху, который собирает до 80 или 100 тысяч конницы. Король польский остается праздным зрителем этой трагедии; но Мосх выбьет из него эту лень, если займет Ливонию, потому что Литва, Пруссия и Самогития граничат с нею. Да и не похоже, чтобы властитель Московитский успокоился: ему двадцать восемь лет, он с малого возраста упражнялся в оружии и по натуре очень свиреп, причем его воинственность еще усилилась благодаря ряду удачных войн с татарами, которых он, говорят, побил до 300 или 400 сот тысяч. Он постоянно возит за собою трех пленных царей, между ними того, у которого он вырвал Казань. В недавнее время он жестоко напал на шведского

короля, который только ценой денег смог купить себе мир. Если суждено какой-либо державе в Европе расти, так именно этой (si ullus principatus in Europa crescere debet, ille erit).“

Ополчения и наемники Ливонии не могли сопротивляться огромным по тому времени конным армиям, которые каждый год бросал с Новгородской окраины Иван IV. Сказались все слабые стороны устройства страны: рознь сословий, соперничество городов, придавленность сельского населения. В Ливонии очень скоро разыгрались события, напоминавшие великую крестьянскую войну 1525 г. в Германии; крестьяне поднялись в тылу у рыцарства, сражавшегося с рускими; от деревень был прислан в Ревель депутат, предлагавший мещанам итти вместе против дворян. Московский завоеватель представлялся ливонцам покровителем демократии. Интересно отметить, что при первом занятии Нарвы „лучшие люди“ поспешили уехать, а „черный люд“ охотно присягнул Ивану IV.

Укрепленные города и замки, обилием которых славилась Ливония, не могли устоять против московской артиллерии. В 1558 г. Нарва вынуждена была просить перемирия из за канонады, а в посольстве к великому магистру ордена горожане извещали, что не в силах более выносить стрельбу. Курбский рассказывает о жестоком обстреле Дерпта „огненными кулями и каменными“, который и заставил город сдаться. В 1560 г. боярин Морозов в несколько часов разбивает стены знаменитой крепости Мариенбурга. Уже в первый год войны русские взяли до 20 крепостей. В Эстляндии они подходили к Ревелю; воевода Петр Иванович Шуйский самоуверенно требовал у магистратов Ревеля и Риги сдачи, грозя в противном случае разорением.

Еще больше, может быть, чем победы русского оружия, европейцев должна была поразить уверенность и настойчивая политика московитов. Иван IV искусно воспользовался соперничеством ганзейского города Ревеля с Нарвой, которой прежде никогда не позволяли вступить в торговый союз Ганзы и быть посредницей в вывозе на запад русских товаров, кожи, мехов, воска, льна, конопли, поташа. Пока Ревель не давался царю, он искал всячески привлечь на свою сторону торговое население Нарвы. Город освободили от военного постоя: в силу жалованной грамоты нарвские купцы получили право беспошлинной торговли по всему московскому государству, а также право беспрепятственно сноситься с Германией. Ближним к Нарве деревням московский воевода доставил зерна для посева, дал быков и лошадей. Нарва явно выиграла от присоединения к Москве; город стал быстро обстраиваться.

В тоже время царь энергично ведет дело обрусения завоеванных областей восточной Ливонии, прилегающей к Чудскому озеру: в новой, немецкой Украине раздавались поместья детям боярским; в Нарве и других городах ставились русские церкви.

На съезде имперских депутатов Германии в 1560 г. Альбрехт Мекленбургский, владения которого были объявлены в непосредственной опасности от московского нашествия, тревожно доносил, что московский тиран принимается строить флот на Балтийском море: в Нарве он превращает торговые суда, принадлежавшие городу Любеку, в военные корабли и передает управление ими испанским, английским и немецким командирам. Докладчик предлагает настоять перед нидерландским и английским правительствами, чтобы они перестали доставлять оружие, провиант и другие товары „врагам всего христианского мира“. Германская империя должна оказать помощь своей старой колонии и не дать утвердиться в ней восточному государю. Выслушав внимательно эту жалобу, съезд постановил обратиться к Москве с торжественным посольством, к которому привлечь Испанию, Данию и Англию, предложить восточной державе вечный мир и остановить ее завоевания.

Германский император и рейхстаг очень волновались по поводу успехов московского царя и принимали одну за другой меры запрета торговли с Москвой через Нарву, в особенности преследуя провоз туда оружия. Однако, сторонником Москвы и свободной торговли на Балтийском море выступил Любек. На конгрессе князей 1564 г. в Ростоке, созванном императором для примирения Дании и Швеции, Любек говорил, что Московский царь, как и все остальные государи, желает пользоваться свободой торговых сношений с западными государствами; при необыкновенной способности и восприимчивости русских царь скоро достигнет своей цели, сегодня у него 4 корабля, через год их станет 10, потом 20, 40, 60 и т. д. То же самое со слов Любека повторяет в следующем 1565 году враг Москвы, Август Саксонский: он предупреждает императора, какая грозная морская сила растет на востоке: русские быстро заводят флот, набирают отовсюду шкиперов; когда московиты усовершенствуются в морском деле, с ними уже не будет возможности справиться.

VIII.

Несмотря на крупные военные успехи, одержанные в 1558—60 г. г., Иван IV был еще очень далек от главной своей цели. В Нарве он видел первый этап к овладению морскими путями; он тянулся к Ревелю и Риге, чтобы иметь

более близкие подступы к западным странам. Но сильный натиск Москвы ускорил подготовлявшееся уже распадение ордена. Раздел его земель между Данией, Швецией и Польшей составлял для московской политики событие крайне невыгодное. Вместо одного слабого противника на сцену появилось несколько сильных претендентов; из них можно было столковаться только с более отдаленной Данией, занявшей о. Эзель. Шведы, завладевшие Ревелем, и поляки, утвердившиеся на устье Двины в Риге, образовали неодолимое препятствие для выхода Москвы к морю.

Уже в первый год после раздела Ливонии (1561) почувствовалась трудность борьбы с новыми врагами. Москва не могла выставить хорошо вооруженной пехоты, и литовцы нанесли войскам Ивана IV несколько поражений; между прочим Курбский был разбит при Невеле. Неудачи вызвали у царя недоверие к воеводам, и отсюда его личное выступление в походе 1563 г.

План кампании составлял, повидимому, оригинальное изобретение самого Ивана IV. Сосредоточенное под Можайском 80-ти тысячное войско двинулось под верховной командой царя на Полоцк. Грозный прежде всего имел в виду нанести решительный удар врагу на его собственной территории, чтобы заставить его отступить из Ливонии: важнейшая крепость на Двине, Полоцк стоял на линии сношений Литвы с Ливонией; город и сам по себе имел значение по своей торговой связи с Ригой, как выход для всей югозападной Руси.

Взятие Полоцка—опять успех Московской тяжелой артиллерии. Необычайно довольный приобретением русской земли, Иван IV писал митрополиту: „исполнилось пророчество русского угодника, чудотворца Петра митрополита о городѣ Москвѣ, что взыдут руки его на плещи враговъ его: Богъ несказанную милость изліялъ на насъ недостойныхъ, вотчину нашу, городъ Полоцкъ, въ руки намъ далъ". И опять возвращение царя в Москву после Полоцкого похода было обставлено также торжественно, как его въезд после взятия Казани.

Грозный имел право гордиться своей победой. В механизме военной монархии все колеса, рычаги и приводы действовали точно и отчетливо, оправдывали намерения оргазаторов; подстать военным средствам складывалось и управление вновь покоренного края. Наказ, данный Полоцким воеводам в 1563 г., начинается со строгих и обстоятельных до мелочей мер для охраны города от пожаров; у местных жителей отбирается все оружие, сами они под „великим береженьем" допускаются в город только в большие праздники; по ночам воеводы сами по очереди должны объезжать город с фонарями, городничие замыкают городские ворота

и приносят ключи первому воеводе; по всем дорогам должны быть выставлены сторожевые отряды. Подозрительных людей велено незаметно высылать окружным путем через Псков и Новгород в Москву. При всем том наказ требует, чтобы воеводы творили суд скорый, правый и внимательный по местным обычаям; всех до последнего человека призывать, чтобы приходили бесстрашно, и только того, кто двух раз не послушает, приводить силой, узнавать у жителей о прежних податях, оброках и т.-п.

Все это никак нельзя назвать варварством, но это далеко и от тогдашней западно-европейской манеры безразличного отношения к быту завоеванного края. Это—азиатство, старинная уверенная система просвещенной восточной монархии.

4. Колебания судьбы.

В шестидесятых годах Иван IV был на верху могущества. Он владел выходом к морю и восточной половиной Ливонии, обеспечив себе торговую и военную дорогу по Западной Двине. Высоко стоит его военно-организационная слава и популярность. Но за этим подъемом московской военной монархии следует жестокий удар. Сигизмунду II удается поднять против Грозного старого врага Москвы, крымского хана. В 1571 г. степной вихрь налетел на Великороссию. угрожая вместе с пожаром Москвы испепелить всю державу.

I.

За успехом, одержанным под личным командованием царя, последовали в начале 1564 г. неудачи его воевод. Грозный выработал широкий план наступления вглубь Литвы. Завоеватель Дерпта, Шуйский должен был двинуться из Полоцка, Серебряные-Оболенские из Вязьмы и, соединившись вместе, итти на Минск и Новогрудок. Но Шуйский шел „оплошася небережно“, доспехи везли в санях. На него внезапно напал у Витебска Радзивил и разбил его при Уле; другой отряд потерпел поражение при Орше.

Далее произошло событие, не важное по своему стратегическому значению, но необыкновенно внушительное в политическом смысле: измена Курбского, которому царь еще в 1562 г., когда князь был главнокомандующим в Ливонии, безгранично доверял.

Только если мы дадим себе отчет в необычайно остром впечатлении, которое в Москве оставили эти военные и политические несчастия, будет понятен правительственный кризис 1564 г., казни, выезд Грозного из столицы в Александровскую слободу, опала боярству, выделение опричнины, как особого корпуса избранных военных, которому встревоженный до последней степени царь готов был поручить себя и державу среди гнездящейся всюду измены.

Русская история обладает в виде переписки Грозного с Курбским источником совершенно исключительного инте-

реса, дающим возможность судить о настроении главных действующих лиц наиболее драматичного момента эпохи: опять приходится сказать, что в современной западно-европейской литературе нет ничего подобного! А между тем, как своеобразно отразились вкусы гуманистического века в этой словесной перестрелке высшей правящей особы с изменником нации и родной стране, в этом рыцарски задорном состязании царя и бывшего его слуги, которые бьются на равных условиях, стараясь перещеголять друг друга ученостью и диалектическим мастерством.

В ответном письме Курбскому сказался весь Грозный: умный, талантливый, человек кипучей энергии, но без чувства меры. Какие отчеканенные выражения о власти, какая ясность политической мысли, какая уверенность в своем монархическом призвании: и как все это беспорядочно загромождено ненужными историческими ссылками, кучей бесполезных имен народов и императоров: сколько лишнего, сколько повторений, какой преизбыток бранных эпитетов, неправдоподобных обвинений!

Перед нами встает во весь рост могучая фигура повелителя народов. Пример других государей, ограниченных во власти и поневоле умеренных, на который ссылается противник, неубедителен для Грозного: „тіи всѣ царствіи своими не владѣютъ; како имъ повелятъ работные ихъ, тако и владѣютъ; а россійское самодержство изначала сами владѣютъ всѣми царствы, а не бояре и вельможи“.

Самодержец носит в себе закон власти, высшую мудрость, безграничное право суда над подданными. „Како же и самодержецъ наречется, аще не самъ строитъ?“ „И повсегда царемъ подобаетъ обозрительнымъ быти: овогда кротчайшимъ, овогда же ярымъ; ко благим убо милость и кротость, къ злымъ же ярость и мученіе; аще ли же сего не имѣя, нѣсть царь; царь бо нѣсть боязнь дѣломъ благимъ, но злымъ; хощеши-ли бо не боятися власти?—благотвори; аще ли злое твориши—бойся: не бо туне мечь носитъ, въ месть злодѣем, в похвалу же добродѣемъ“.

Впервые в этом письме к Курбскому вырывается давно затаенное и, может быть, никому не высказанное доселе так ясно негодование против высшего совета, с Сильвестром во главе, ограничившего царскую власть. „Понеже бо есть вина всѣмъ дѣломъ вашимъ злобѣсного умышленія понеже съ попомъ положисте совѣтъ, дабы азъ словомъ былъ государь, а вы бы съ попомъ владѣли“. К этому больному вопросу Грозный постоянно возвращается; видно, что его самолюбие очень страдало под опекой сурового церковника. В годы вынужденного бездействия и подчиненности у него сложилась целая теория власти в осуждение господства священников, как строя неразумного, неизбежно несущего государству гибель,

потому что „попы—невѣжи“, т.-е. несведущи в государственных делах. „И сели супротивно разуму и совѣсть прокаженна, еже невѣжу взустити отъ Бога данному царю воцаритися? Нигдѣ же бо обрящеши иже не разоритися Царству, еже отъ поповъ владому“.

Теория обставлена множеством исторических примеров. Самый недавний—падение Византии, ослабевшей под влиянием церкви. В истории Израиля счастливы те времена, когда духовная и светская власть были разделены; бедствия немедленно наступили „егда Илія жрецъ взя на ся священство и Царство“. Распадение римской ипмерии—результат того, что в одном лице соединились две власти. Вывод ясен: „не подобаетъ священникомъ царская творити“.

Мысли, высказанные в письме, глубоко обдуманы и выстраданы. Способный и восприимчивый ученик Макария, Иван IV незаметно покорился воздействию духовенства, благодарный тем, кто освободил его от засилия Шуйских. Но в той самой литературе, в которую его посвятили учителя, он нашел полемику против теократии и доказательства в пользу „самодержства“, мощной и передовой светской власти; увлекшая его новая теория постепенно слилась с нарастающим чувством своего великого жизненного назначения, с раздражением против тех, кто связал его по рукам и ногам, кто не давал его таланту найти себе приложение. Развитие ума и воли Грозного вообще запоздало и замедлилось: тем сильнее, тем увереннее выражает он потом свои новые убеждения.

И никогда он не находит равновесия, спокойной середины: чувства переливаются через край, страсть бьет пеной, „кротость“ обращается в безграничное слепое доверие, „ярость“—в бешеную злобу. Он не просто отставляет Сильвестра и Адашева, а желает им зла и гибели, он не ограничивается обвинением их в превышении власти, в раздаче царских сокровищ, а приписывает им „бѣсовскіе“ умыслы.

Таков Грозный во всем: не только в преследовании умалителей царской власти, изменников и нерадивых, но и в своих фантазиях, в своих бурных потехах, в игре с монастырским обычаем, наконец, в шутовском пародировании самой царской власти.

II.

Нельзя забывать, что опричнина была не только взрывом мести против действительных и мнимых изменников, не только жестом ужаса и отчаяния у царя, перед которым открылась вдруг бездна неверности со стороны лучших, казалось, слуг; это была также военная реформа, вызванная опытом новой труднейшей войны.

При завоевании Поволжья московские конные армии вели бои с воинством себе подобным и руководились стратегией и тактикой весьма простыми. Совсем другое дело— войны западные, где приходилось встречаться со сложным военным искусством командиров наемных европейски обученных отрядов: московские войска почти неизменно терпят поражения в открытом поле. Особенно важным недостатком было отсутствие дисциплины и сплоченности; армия не представляла однообразно устроенного тактического целого. Сильно давали себя чувствовать остатки самостоятельности удельных князей. Многие из них на местах сохраняли свои дворы, творили суд, собирали на себя подати, раздавали зависимым от них как бы частным служилым людям поместья. К царскому ополчению они примыкали с отрядами своих холопов, воинов ими испомещенных на своей земле, или, как сказали бы в Англии этого времени, своих ливрейных людей. Не даром Иосиф Волоцкий в начале XVI в. называет московского властелина „всея Руси государям государем“.

Наглядно и резко, в виде измены родине, сказались эти остатки удельности, или феодализма в переходе Курбского к Литве, причем он увел с собою ближних особенно тесно с ним связанных боярских детей и слуг. Не так заметно, но не менее вредно отражались на военных порядках другие черты удельной старины. Плотный слой родовой аристократии, теснившейся к должностям, мешал государю выдвигать способных и талантливых людей нисшего звания. Быть может также, некоторые старые соратники Ивана IV, показавшие много рвения и храбрости в походах восточных, неохотно служили в новой войне, как будто не желая понимать ее смысл. Прежде чем изменить своему отечеству, Курбский обнаружил небрежность и неисполнительность. Вероятно, не раз оказывалось, что диктуемые из центра планы не выполняются на месте, и притом без достаточных оснований.

Проводя в 1550—6 г. г., реформы усовершенствования военно-поместной системы, правительство и в этой области, как в других, допускало подачу челобитных и проектов. К числу последних принадлежат поразительные по таланту и горячности произведения публициста, который подписывался Ивашкой Пересветовым и предлагал преобразование войска в связи с усилением самодержавия.

Пересветов называет себя служилым человеком литовско-русского происхождения, побывавшим на иностранной службе, венгерской, польской, волошской, и выбравшим по своей охоте службу в Москве. С ударением и гордостью ссылается он на свою бедность, на то, что выбился из неизвестности: он приравнивает себя тем „воинникамъ в убогомъ образѣ“, которые приходили к Августу, Кесарю и к великому Александру и давали этим государям мудрые советы.

Очень своеобразно соединяет Пересветов возвеличение монархической власти и защиту интересов мелких служащих людей, к которому себя причисляет: он ненавидит высший аристократический слой, хочет полного уравнения всех служилых людей, возможности свободного развития талантов из среды простых шляхтичей. Такой простор рядовому дворянству может открыть только монархическая власть: в свою очередь монархии нужен демократический порядок для усовершенствования военного строя, для создания гибкого, полного энергии непобедимого воинства. У Пересветова эти мысли слагаются в общий политический завет: царь должен больше всего любить свое войско. По его мнению, в Москве вельможи хотят отстранить царя от забот об армии, разлучить его с нею, сделать правителем одних гражданских дел. Царю не следует поддаваться на такие изменнические замыслы: все его спасение в преданном войске.

Государство, по мнению Пересветова, необходимо преобразовать в духе строжайшего военного порядка. Правление должно быть грозным, юстиция краткой и суровой на манер военных судов. Реформа представляется Пересветову прежде всего в виде уничтожения частной службы у вельмож: государь привлечет лучших из подчиненных вельможам военных в свой отборный корпус; затем он должен править неограниченно и беспощадно наказывать всякое сопротивление.

Интересно преклонение западно-русского шляхтича перед строем Турции. Заметим, что Махмет-салтан, которого образцовые порядки рекомендует Пересветов,—вовсе не романическая, а вполне реальная личность Магомета II (1451—81), покорителя Константинополя. Ему, нечестивому иноверцу, противополагается побежденный им православно-христианский царь Константин, допустивший своеволие вельмож и пренебрегший своим войском. Изображение разумной, грозной, справедливой военной монархии, заведенной мусульманином, Пересветов заканчивает восторженной похвалой, в которой есть оттенок религиозной терпимости гуманистического века: „турецкій царь Махметъ-салтанъ великую правду въ свое царство ввелъ, иноплеменникъ, да сердечную радость Богу воздалъ; да къ той бы правдѣ да вѣра христіанская, ино бы съ нимъ ангели бесѣдовали“.

Сам родом шляхтич, публицист как будто находится под сильнейшим отрицательным впечатлением опыта, сделанного польско-литовским дворянством. Он совсем не очарован вольностями тамошней шляхты, напротив считает подчинение этого класса суровой государственной дисциплине условием национальной силы.

III.

Сличая советы Пересветова с учреждением, которое носит название опричнины, мы должны признать сильнейшее воздействие публициста на реформатора.

Заметим, что между проектами и выполнением их лежит немалый промежуток времени. Пересветов пишет свою челобитную еще до взятия Казани; он имеет в виду только борьбу со степью и совсем не знает Балтийской войны. Тем более любопытно данное им освещение политической обстановки момента. Ведь, когда он ссылается на вельмож, стремящихся отклонить государя от сближения с войском, вообще отстранить его от деятельной роли, он разумеет ничто иное, как окружавшую Ивана IV с 1547 г. тесную думу, которая в эпоху Стоглава и казанского похода обладала неограниченным авторитетом.

Эта дума, с Сильвестром и Адашевым во главе, пользуется у историков, главным образом, благодаря свидетельству Курбского, хорошей славой; упадку ее влияния обычно приписывают начало порочной жестокости и диких капризов Ивана IV. Но, может быть, при этом слишком много внимания уделяли вопросам личных столкновений и обид и слишком мало политической стороне дела. А между тем стоило бы заметить, что Курбский очень характерно называет тесную думу, в которой он и сам участвовал „избранной радой". Ни у кого другого этого названия не встречаем: а русский эмигрант, разумеется, применяет его не даром: у него перед глазами высший совет, ограничивающий власть польского короля, „паны-рада". Представитель старинного княжеского рода, родня литовских и польских панов, естественно увлекается примером олигархии у западного соседа. Называя именем этой верхней палаты аристократической республики тесную думу при московском царе, Курбский только подтверждает правильность жалоб Ивана IV на то, что советники отстранили его от дел, „снимали его власть", приводили „въ противословіе" бояр, раздавали самовольно чины и земли и т. п. Пересветов, злейший враг высшей аристократии, дает неожиданное освещение деятельности избранной рады: очень рано, в эпоху полного доверия Ивана IV к своим советникам, он предлагал царю резко сломить их господство, опираясь на массу рядового мелкого дворянства.

Пересветов удивительно предвосхитил идею „грозного" правления, понятие о самодержстве и, может быть, его надо признать одним из главных вдохновителей последующей политики Ивана IV. Самым решительным и заметным делом первых лет опричнины с 1564 г. был разгром княжеских гнезд, распущение дворовых слуг и особых армий, состоявших на частной службе бывших удельных владетелей: царь посадил

опричников, т. е. людей новой службы с неизвестными дотоле именами на места родовых вотчин князей Ярославских, Белозерских, Ростовских, Суздальских, Стародубских, Черниговских и др., оторвав самих „княжат“ от почвы их старинного владения и насильственно переселив их на совершенно новые места, где у них не было ни корней, ни связей.

Без сомнения, Иван IV по своей необузданной натуре внес слишком много страстности в борьбу со своими прежними доверенными советниками; но это не основание думать, что в опричнине и не было ничего больше, кроме личного ожесточения; а следовательно, что Грозный вел войну с призраками.

В переписке с Курбским, Грозный очень картинно изображает, как Сильвестр, главное лицо правительственного кружка, подбирал себе угодников, т. е. составлял около себя партию, собираясь свести царя на роль простого украшения. В переговорах с Литвой он бросает любопытное обвинение против самого Курбского: будто бы тот имел притязание называться „отчичемъ Ярославскимъ“ и хотел „на Ярославлѣ государить“. Конечно, это выражено слишком драматично и звучит неправдоподобно. Но нам следует помнить, что до 1564 г. еще живы были многие княжеские гнезда, и что у крупных „вельмож“ существовало понятие о праве отъезда. После примера, поданного Курбским, пришлось у видных бояр отбирать клятвенное обещание о невыезде заграницу. Следовательно, они не подчинились новому понятию о государстве; они продолжали считать себя государями, в них еще сидели предрассудки удельных владетелей.

Самолюбие Курбского было вполне удовлетворено, когда, участвуя в высшем правительственном совете, он встречал подчинение московского царя воле своей и своих товарищей. Но раз это положение пошатнулось, он нашел возможным только один выход—отделиться от государства. Его взгляды совершенно совпадают с мировоззрением крупных польских панов, немецких фюрстов и французских сеньёров XVI в., которые или заставляли монархию подчиниться своему правительственному давлению, или потерпевши на такой попытке неудачу, изменяли своей стране и объявляли себя вольными и самостоятельными вождями и как бы государями. Коннетабль Бурбон, принц крови и родственник французского короля, перешедший в 1521 г., вследствие личной обиды, к германскому императору Карлу V и принявший команду над войсками, сражавшимися против его отечества; курфюрст Мориц Саксонский, в 1548 г., верный слуга того же Карла V, изменивший в 1552 г. императору в пользу французов—вот наглядные западные параллели к Курбскому: Москва и не отстала и вперед не пошла в этом смысле сравнительно с европейскими государствами.

Оппозиционеру-изменнику Иван Грозный с искусством демагога противопоставляет народническое направление и здесь сходится с идеологами, Пересветовым и автором „Слова къ благохотящимъ царемъ“, из которых каждый на свой манер советует держать вельмож в строгости и доверять больше работе крестьян и службе воинов низшего звания. В своих грамотах, присланных из Александровской слободы в Москву в январе 1565 г., Грозный со свойственной ему манерой крайнего преувеличения, разделил подданных на козлищ и овец и распределил между двумя сторонами гнев и милость: боярам, воеводам, приказным он объявил опалу за расхищения, неправильно нажитое богатство, притеснения христиан и нерадивую службу, духовенству за то, что оно покрывало их; гостям же, купцам и всему православному христианству города Москвы он писал, чтобы они себе никакого сомнения не держали, гнева на них и опалы никакой нет.

Необходимо обратить внимание на одну характерную частность, в которой Пересветов соприкасается с настроениями Ивана IV. Перечисляя различные проступки вельмож перед монархом, публицист называет их „чародѣями и ересниками, которые у царя счастье отнимаютъ и мудрость царскую“. Упрек здесь брошен страшный для того времени: никогда, может быть, так не распространялась вера в колдовство, в приворотные и изводящие зелья, никогда так не свирепствовали колдовские процессы и на западе, и в Москве. Грозный, во всем склонный к крайностям, поддавался по преимуществу страху колдовских чар и злодейского волшебства. Вызвать у него подозрение в чародейских кознях со стороны близких к нему людей значило дать против них необычайно опасное оружие. Курбский рассказывает, что в 1560 г. Сильвестра и Адашева осудили, не выслушав их оправданий, потому что признали в них злодеев и чаровников. Он же передает, что в Москве казнили женщину высокой добродетели и аскетического образа жизни, потому что ее необыкновенные душевные качества заставили в ней заподозрить колдунью, способную извести чарами своими царя.

В обычных характеристиках Грозного все его казни смешиваются воедино и приводятся безразлично в доказательство его свирепости и полубезумного состояния. А между тем следовало бы различать политические и колдовские процессы. В первом случае мы имеем дело с крайностями распаленного гнева и мстительности, но в то же время с мотивами рационального характера. Во втором с чем-то стихийным, болезненным, где одержимый был совершенно неспособен управлять своей волей, но где он разделял суеверие со своими современниками. Очень интересно знать, что бы стал делать сам Курбский на месте Грозного: ведь он целиком разделяет

веру в колдовские воздействия: порчу нрава царя, его поворот к жестокостям он приписывает силе чар, которыми располагали его „злые“ советники, сменившие „добрых“.

IV.

Если смотреть на опричнину 1564 г., как на меру военно-организационного характера, она составляет продолжение реформы 1550 г. Тогда были испомещены кругом Москвы 1000 человек новой службы; также и теперь Грозный выбирает себе „князей и дворян и детей боярских дворовых и городовых тысячу голов“, но испомещает их в замосковных уездах, галицком, костромском, суздальском, в городах заоцких. Преобразователь пошел, однако, гораздо дальше в развитии военной техники. Очень интересно сравнить советы Пересветова с практическим осуществлением военной реформы.

Автор челобитных настаивает на образовании отборного корпуса из двадцати тысяч „юнаковъ храбрыхъ с огненной стрельбой, гораздо учиненного;“ он имеет в виду трудную героическую борьбу с крымцами на юге. Пересветов мечтает при этом о каком то неутомимо воинственном государе, живущем душа в душу со своей армией, и не даром вдохновляется фигурой Магомета II. Современная ему Турция выставила в лице Солимана II (1520—66) еще раз такого же беспокойного завоевателя. К этой роли, однако, не вполне подходил Иван IV.

Правда, Курбский говорит о нем в Сказаниях по поводу Казанского похода 1552 г.: „сам Царь, возревновавъ ревностью, началъ противъ враговъ ополчаться, своею главою, и собирати себѣ воинство множайшее и храбрѣйшее, и не похотяще покою наслаждатися, въ прекрасныхъ палатахъ затворясь пребывати (яко есть нынѣшнимъ западнымъ Царемъ обычай: всѣ цѣлыя нощи истребляти, надъ карты сѣдяще и надъ прочими бѣсовскими бреднями)“. Но тот же Курбский рассказывает, что после взятия Казани царь не послушался „мудрыхъ и разумныхъ“ советников и не остался на зиму в покоренном городе, чтобы закрепить завоевания, а уехал в Москву. В конце концов он, вероятно, неохотно становился во главе армии, как это особенно видно было в 1571 году, когда, уклонившись от командования, он дал смелость крымскому хану подступить к Москве и сжечь ее. Однако, во всех случаях, когда ему приходилось руководить военными действиями, т. е. помимо Казанской кампании, при взятии Полоцка, два раза в Ливонии, в 1572 и в 1577 г. г., войско бьется хорошо и поправляет предшествующие неудачи.

Не имея натуры предводителя, Иван IV обладал техническими талантами, обнаруживал глазомер и изобретательность в инженерном и строительном деле, широкий и прак-

тичный взгляд в вопросах военной организации. Дарования организаторские особенно видны на реформах, начатых в 1564 г. Разделение земли и людей на опричнину и земщину, как выяснил С. Ѳ. Платонов, было произведено по очень обдуманному плану. В земской половине остались старые сословные порядки и прежние счеты службы; в опричнину царь отбирал пригодные ему элементы, не считаясь с родовитостью, с местничеством, с классовыми предрассудками и притязаниями, свободно передвигая людей в чинах и соображаясь только с их военной пригодностью, их талантом и заслугой. Шаг за шагом он выделял в свое личное, чисто военное управление центральную группу земель, занял опричниной важнейшие государственные дороги, которые вели от центра к границам. Земщину отодвинули на окраинные области, где она продолжала служить как бы под надзором центрального военного управления.

Разделение служилых и торговых людей на опричнину и земщину вовсе не привело к раз навсегда установленной грани: это были только рамки, в которых постоянно менялось содержание. Сам Грозный выразил смысл своей реформы в следующих словах иронической челобитной, которую он подал подставному царю Симеону Бекбулатовичу: „людишекъ перебрать, бояръ и дворянъ и дѣтей боярскихъ и дворовыхъ людишекъ“. Действительно, он совершал как бы непрерывный пересмотр всего служилого класса и его владений, передвигал и перетасовывал отдельных его представителей, создавал новое их распределение и опять менял его без конца.

Иван IV лишь довел до полнаго развития те начала военной монархии, которые наметились во времена его деда. Главное учреждение военной державы, поместная система, возникла из борьбы со степью. С середины XVI в. сильнейшим побудителем к ее расширению становится западная война. Грозный, мастер военной техники, вооруженный опытом своих предшественников, пытается придать ей наибольшую гибкость и производительность, на какую она только была способна. Опричнина отражает взгляд на служилое сословие, в силу которого оно должно явиться вполне послушным орудием центра; порядки, заведенные с 1564 г., составляют верх напряжения военно-монархического устройства.

То обстоятельство, что реформа совершалась во время трудной войны, что она осложнялась столкновением с княжатами, среди которых, вероятно, было не мало сочувствовавших Курбскому, придало ей характер судорожно-резкий. Но не в террористических мерах Грозного заключалась сущность перемен. Работая над введением нового военного строя, реформатор не имел покоя и простора. Преобразование было задумано, как орудие для устранения опасных людей и для использования бездеятельных в интересах государства, а со-

противление недовольных превращало самое реформу в боевое средство для их уничтожения, и вследствие этого, преобразование становилось внутренней войной.

V.

В опричнине хотели видеть исключительно или главным образом орудие возникающего деспотизма. Конечно, верно, что в 1558—64 г. г. Иван IV сделал ряд очень резких усилий, чтобы сбросить слагавшуюся вокруг него олигархию, но монархию он укрепил не только террором, а также теми средствами, которые рекомендовали демократы, Пересветов и автор „Слова", т. е. сближением с армией и с широкими кругами общества. Впечатление такого призыва к общественному мнению производит земский собор 1566 г., созванный почти следом за установлением опричнины и как бы предназначенный показать, какую важность придает правительство настроениям армии.

Русские историки сходятся теперь в том, что собрание 1566 г. было первым настоящим земским собором; собор 1550 г. с его речами государя к народу относят согласно в область мифов. Установлены в науке и предшественники „совета всей земли": это—соединение разных разрядов воинства, образчик которого дал Иван III в 1471 г., и, с другой стороны, освященный собор, совет высшей иерархии. В эпоху опеки правительство связало оба вида собраний для обсуждения церковной реформы, и Стоглав 1551 г. был соединением „властей" (духовенства), „синклита" (боярской думы) и представителей воинства.

В 1566 г. Иван IV возобновляет форму совещания 1551 г. для светской цели, собирает духовенство, боярскую думу в ее полном составе с секретарями, приказными дьяками, и представителей главных разрядов служилых людей; но при этом он вносит новизну, приглашая впервые гостей и торговых людей. Это прибавление, придающее всенародный характер собранию, отвечает демократическому направлению, которое царь обнаружил уже в своей грамоте, присланной в 1565 г. населению Москвы. Что касается поводов к созыву, то здесь Грозный возвратился к традициям своего деда. Как Иван III спрашивал свое воинство, итти ли походом на Новгород, так Иван IV поставил собранию военно-служилых и торговых людей вопрос о том, согласны ли они продолжать войну за обладание всей Ливонией, между тем как Польша предлагала раздел страны на фактических условиях владения с удержанием в своих руках Риги.

Помимо участия торговых людей, впервые появляющихся в большом государственном совещании, есть еще другие оригинальные черты собора 1566 года. Среди низших разрядов

служилых людей в качестве особой группы упоминаются торопецкие и луцкие помещики: повидимому, это были оказавшиеся в Москве ко времени переговоров с Польшею мелкие дворяне, сидевшие на окраине наиболее угрожаемой, взятые из непосредственно действовавших на войне корпусов. Хотя их немного, но они занимают видное место в собрании; их мнение отбирается отдельно. Правительство вообще придавало значение свободному обмену взглядов: мы узнаем, что среди отзывов на соборе было оглашено особое мнение печатника Висковатого, руководителя иностранной политики, который предлагал допустить раздел Ливонии, но при этом потребовать от короля вывода гарнизонов из занятых им городов.

В собрании 1566 г. своеобразно соединяются старина и новизна, предания и политическое изобретение. В. О. Ключевский обратил внимание на преобладание в земском соборе 1566 г. представителей знаменитой тысячи, набранной в 1550 г. и испомещенной в окрестностях Москвы, чтобы быть готовыми на посылки и поручения правительства. С другой стороны, Н. Мятлев показал, что выбранные дворяне 1550 г. занимали в последующие десятилетия большую часть важных должностей по военному командованию, внутренней администрации и дипломатии. Мы видим, что Грозный, несмотря на резкость кризиса 1564—5 г. г., на опалы и казни, все-таки держится старого испытанного состава управления и даже окружает себя его представителями в большом совещании по крупнейшему вопросу политики.

Собор 1566 г. составляет чрезвычайно искусный ход в политике Ивана IV. Удовлетворив самолюбие воинства, еще лишний раз закрепив за собою опору рядового дворянства против аристократического боярства, Грозный выиграл вместе с тем блестящее положение в международной политике. Отправляя в Литву полномочного посла Умного-Колычева с решительным отказом мириться без Ливонии, он выступал окруженный сиянием популярного государя, который только что удостоверился в единодушии своей армии. Мог ли развернуть что-нибудь даже отдаленно похожее его противник Сигизмунд II с тяжелым на подъем, неподатливым, многоречивым сеймом, собиравшим шляхетство, которое в отличие от московского дворянства, перестало быть воинством? Вот когда военная монархия московского государя должна была чувствовать свое превосходство над шляхетской республикой!

Если можно говорить об изобретениях в политике, Иван Грозный имеет право считаться изобретателем земского собора так же, как Симон де Монфор—изобретателем парламента, а Филипп Красивый—генеральных штатов.

VI.

Одним из первых успехов Ивана IV в Ливонской войне было занятие Нарвы, благодаря чему открылись прямые сношения морем с западом. Какие расчеты и надежды связывало московское правительство с этим открытием морского пути, видно из договора, заключенного с Данией в 1562 году. Царь выговаривает свободный проезд в Копонгов (Копенгаген) и во все города датского королевства для „гостей нашихъ царевыхъ и великаго князя и купцовъ Великаго Новгорода и псковичей и (купцовъ) всѣхъ городовъ московской земли, также и нѣмцевъ моей вотчины, Ливонской земли городовъ“. Торговля должна быть свободная и прямая с купцами и потребителями Дании без участия каких-либо факторов и посредников (меклиров и веркоперов). Затем предусматриваются более отдаленные поездки русских, в которых Дания будет играть только роль страны транзита, и обратные поездки через Данию иностранных торговцев в русскую землю: „а которые наши царевы и великаго князя купцы и гости, русь и нѣмцы, поѣдутъ изъ Копонгова въ заморскіе государства съ товаромъ, и которые заморскихъ государствъ пойдутъ мимо королевства датскаго морскими воротами, проливомъ Зунтомъ“. тем должно предоставить свободный проезд.

У нас нет определенных сведений о действительных поездках русских купцов в „Копонгов“ и дальше, но что касается приезда иностранных купцов в Нарву, об этом громко повествуют германские реляции.

По сведениям Любека от 1567 г. в Нарву приезжают иностранцы из Франции, Голландии, Англии и Шотландии, германские купцы из Гамбурга, Висмара, Данцига, Бреславля, Аугсбурга, Нюрнберга и Лейпцига. Стечение иностранных купцов в Нарве по временам было громадное, иногда туда свозилось столько товаров, что продавать их приходилось по очень низкой цене. Старинная ливонская хроника Ниенштедта передает о великой радости царя, так как „этим путем он надеялся всего легче утвердиться в Ливонии. Иностранные факторы в Нарве были в большом почете, их приглашали ко двору царского наместника, угощали их, как своих детей-любимцев.

В 1567—8 г.г. в Германии много говорилось об успехах Москвы. Иные готовы были верить, что создается величайшая империя в мире; если московский царь завладеет Ревелем, он водворится скоро посредине Балтийского моря, на островах Готланде и Борнгольме и будет для Германии гораздо опаснее, чем турецкий султан. Многим представителям купечества казалось, напротив, выгодным завести прямые сношения с Москвой и приобрести в ней союзника против Турции.

Тогда вся русская торговля, как неиссякаемый источник, будет находиться в руках немцев.

Баварец Фейт Зенг, один из торговцев, подолгу проживавших в Москве, старался увлечь своих соотечественников сообщениями о „могучем царе“ и склонить их к заключению союза с Москвой. Он указывал на громадную армию и великолепную артиллерию царя, на обилие его денежных средств, настаивал на устройстве почтовых сношений между Москвой и Германией, на облегчении московитам возможности ездить за границу. Русские, по его словам, вообще чрезвычайно способны и восприимчивы; со времени занятия Нарвы они приобрели большую опытность в торговом деле; необходимо открыть им средства обучения науке и технике.

Как бы в ответ на эти руссофильские предложения рейхстагу было в 1570 г. представлено рассуждение „о страшном вреде и великой опасности для всего христианства, а в особенности германской империи и всех прилежащих королевств и земель, как скоро московит утвердится в Ливонии и на Балтийском море“. Отовсюду, говорит анонимный автор, с запада, из Франции, Англии, Шотландии и Нидерландов, несмотря на запрещения, везут в Нарву оружие и съестные припасы. Между прочим, для русских очень важен подвоз соли: не получай они ее в таком количестве, они не могли бы продолжать войну и скоро запросили бы мира. Привозят в Москву много шелка, бархата, полотна. Русские, до этого не умевшие выделывать ткани, теперь сами научатся всему и, конечно, разбогатеют.

Много доставляют царю золотой и серебряной утвари, драгоценные металлы в Германии истощаются и сильно поднимаются в цене. Наконец, московский государь соберет скоро столько военных снарядов, что сделается сильнее всех других. Всего же опаснее то обстоятельство, что многие правительства доставляют москвичам опытных кораблестроителей, знающих морское дело, искусных в сооружении гаваней, портов, бастионов и крепостей, затем оружейных мастеров, которым хорошо знакомо Балтийское море, его течения, гавани и пр. Все эти сношения Европы с царем придали ему мужества; теперь он стремится стать господином Балтики, достигнуть этого ему будет не трудно, во первых, ввиду изобилия корабельного леса в России, железа для якорей и различных других материалов для снастей и парусов, сала, дегтя и пр. Его страна изобилует населением, и он легко наберет людей для экипажа. Русские крепки, сильны, отважны, и, наверное, будут отличными мореходами. Много у царя также купеческих товаров, следовательно, он может путем обмена получить все нужное из других стран.

Замечательно, как сходятся в своих суждениях о русских друг и враг Москвы. Оба предвидят быстрый рост будущего русского флота. Оба признают переимчивость русских, их промышленные и технические способности. Московская политика представляется им обоим решительной, настойчивой, последовательной. Страна богата необычайно, и правительство умеет направлять торговлю, приобретать нужные товары: оно ведет широкую империалистическую политику.

VII.

В странном противоречии со всеми отзывами и суждениями немцев о быстром и угрожающем росте русской торговли и мореплавания, о стремительном натиске и способностях русских, находятся факты поведения англичан в московском государстве и отношения к ним московского правительства.

Хотя появление в Москве Чанслора, спасшегося в 1553 г. от экспедиции Уиллогби, составляло как будто счастливую случайность, заменившую английским мореходам поиски северного пути в Индию, но в сущности англичане поставили себе скоро большие самостоятельные задачи в самой Московии. За обещание возить через Архангельск мануфактуру и военные принадлежности, они добились исключительного права пользоваться северным путем, права беспошлинной торговли по всему московскому государству, свободного выезда и въезда; далее свободного проезда по волжскому пути в Персию и Среднюю Азию, при чем их не оставляла мысль пробиться в Индию.

Привилегии англичан вовсе не кончились и даже не сократились с тех пор, как Иван IV приобрел опорный пункт в Балтике. Напротив, захват Нарвы в 1558 г. повел к новому расширению английских планов. Помимо далекого пути через Белое море, большую часть года закрытого, у них открылась несравненно более близкая дорога. Проникши вместе с другими иностранцами в Нарву, англичане проявили исключительную энергию. Их конкуренты, купеческие круги Любека сообщают, что в московском государстве всего успешнее идут торговые дела англичан: у них во всех больших городах свои складочные магазины, через Россию они добираются до Персии и Армении, о чем никто раньше не слышал, не помышлял, из Белого моря надеются найти путь в Гренландию.

Англичане, повидимому, строили еще более широкие замыслы забрать всю торговлю в московском государстве. Правда, Иван IV отказал им в такой монополии, но всетаки предоставил им право исключительной торговли с Казанью и Астраханью. Грамотой 1569 г. царь разрешил английской

компании искать на р. Вычегде железную руду и для ее обработки построить завод, с каковой целью в ее распоряжение отвели большой участок леса. На русских монетных дворах англичанам было позволено чеканить свою английскую монету, разрешено пользоваться ямскими лошадьми и нанимать русских рабочих.

Как понять все эти уступки московского правительства?— Относительно англичан многое объясняется военными и политическими соображениями. Для борьбы с технически хорошо вооруженными западными соседями Иван IV нуждался в доставке снаряжений, пороху, свинца, орудий, наконец, инструкторов: военный материал и военных людей всего скорее можно было получить из Англии, которая наносила как раз в это время последние удары своей старой сопернице, немецкой Ганзе. Неудивительно, если мы слышим, что в 1560 г. в русском войске, напавшем на крепкий Феллин, есть английские стрелки.

У Грозного вообще сложилось какое-то странное влечение, род недуга к Англии. В тяжелые годы царствования оно превратилось в упорную мысль породниться с английской королевой и даже найти себе убежище в Англии на случай крушения династии. Поэтому никому, может быть, так много не спускал Грозный, как английским послам, выдававшимся своей грубостью и неучтивостью; не даром он прослыл в своей ближайшей среде „английским царем“.

Но как бы ни были важны политические соображения и чувства, все таки удивительно, что им в угоду московское правительство, повидимому, готово было жертвовать интересами местного торгового класса, тогда как именно из за выгод последнего оно настойчиво добивалось доступа к Балтийскому морю. Ответа на наше недоумение приходится искать в своеобразном устройстве и положении промышленников и торговцев московского государства. В отличие от западно-европейского купечества, московское не имело самостоятельности, не составляло корпораций, гильдий, компаний. Оно состояло на службе государства; очень характерно выражалось это чиновное положение торговых людей в поручении таможенных сборов богатейшим купцам под ответственностью их капиталов, затем в обычае привлекать выдающихся „гостей“ из провинции в Москву, обычае, подобном возведению местных дворян в столичные придворные чины, наконец, в назначении правительством начальников гостиных сотен, т. е. в разделении купечества на отряды, на административные группы.

Поэтому мы находим крупных торговцев в качестве специалистов-советников в правительственных комиссиях. Во время второго приезда в Москву Чанслора был учрежден особый совет для рассмотрения прав и вольностей, которых

требовали англичане; в этот совет были приглашены московские купцы. В качестве государственного чина „гости“ участвовали в политическом собрании 1566 года.

Промышленники привыкли к своей роли органов администрации. Когда образовалась опричнина в качестве тесного военного управления, предназначенного стянуть к центру живые силы страны, Строгановы, знаменитые потом своей пермской колонизацией и началом завоевания Сибири, поспешили записаться в кадры нового государственного учреждения. Отношение Строгановых к опричнине и их общее поведение очень показательны: они хорошо выполняют на окраине поручения правительства, наряду с разработкой предоставленных им доходных статей, строят крепости, охраняют прикамский край от нападения сибирских татар и инородцев.

Под руководством правительства действовали также московские купцы в Балтике с открытием нарвской навигации. Воевода Заболоцкий в 1566 г. просит ревельскую Думу пропустить русских купцов, едущих в Висмар. И тут, и по другим подобным доводам, Грозный настойчиво повторял одно и то же требование, чтобы его подданным давали свободный пропуск за море в Европу.

Широкой программе, указанной московским торговцам заграницей, и большой энергии, с какой русский промышленный дом на окраине выполнял дело колонизации, не соответствует деятельность людей того же класса в центре. Здесь, как видно, они слабы капиталом, лишены почина, не имеют размаха. И дело, может быть, объясняется именно тем, что для важных отраслей торговли, напр., продажи мехов, главным и единственным предпринимателем являлось государство, а купцы и заводчики служили только агентами.

В государственной торговле всегда с неизбежностью будут преобладать интересы казны; в ней нет опасностей риска, нет и побуждающих к широкой предприимчивости выгод. Весьма понятно, что при таком строе торговли государство склонно отдавать иностранцам те статьи промышленности и обмена, которые оно не может непосредственно использовать. Отдача англичанам вычегодской железной руды была именно таким способом приглашения иностранцев там, где государство не хотело или не могло приложить свои руки.

В указанных фактах мы получаем еще одну лишнюю черту для характеристики московского государства. Власть организует все силы общества для войны, собирает всю промышленную деятельность для военных финансов; правительство хочет, чтобы все таланты, все энергии, все капиталы служили ему одному. Оно берет на себя слишком много руководительства, ничего не оставляя самодеятельности общества.

Для тогдашней Европы эти обстоятельства представлялись слишком необычными и вводили иностранцев в заблуж-

дение. Купечество, как самостоятельная сила, выросло на Западе из морского пиратства и сложилось раньше, чем национальное государство. Поэтому западные наблюдатели усматривали в подчиненном, незаметном положении московских торговцев и промышленников, в направлении торговли путем приказов признаки варварства, а иностранные предприниматели обольщали себя надеждой добиться монополии в этой стране, столь слабой самостоятельным почином. Не один раз обращались англичане с такими предложениями к Ивану Грозному. Та же мысль не переставала занимать воображение купечества старой ганзейской столицы, Любека: на широком плане стать руководителем торговли во всем московском государстве основаны почти все представления Любека на рейхстагах и съездах германских князей, когда ганзейцы восторженно отзывались о выгодах русской торговли.

Выросши на соперничестве торговых дружин, новоевропейцы забыли, что торговля не имела такого характера ни в римской империи, ни в арабском халифате, который унаследовал формы старинного восточного государства. В этих больших державах государство было и кредитором, и заказчиком, и направителем торгового дела, а купечество выступало в качестве государственных чиновников. Такую же форму промышленности представляло и московское государство. И, может быть, в нем как нигде больше, расцвели вновь старинные формы, которые отразились так ярко в вавилонском судебнике 20-го века до Р. Х.

Поглощение государством частных предприятий, властное направление сил промышленной энергии составляло великое могущество московской державы; но в той же исключительности государственной опеки, не знавшей общественного почина, заложен был источник его слабости; в ней заключалась главная опасность самой его жизни. За время войны общество молчало, и правительство не имело мерки, чтобы судить о степени перенапряжения его сил и чтобы во время остановиться. Когда в центре произошла беда, оборвалось руководительство, тогда разладился и весь механизм. К Москве хочется применить выражение, сказанное по другому поводу и о другом государстве: „здесь все научились слушаться, никто не умел распоряжаться“.

VIII.

Крупные успехи, одержанные Иваном IV в 60-х годах в Ливонии, развитие сношений с Западом, начало русской внешней торговли,—все это было достигнуто в значительной мере, благодаря выгодному международному положению Москвы. Между двумя скандинавскими державами, имевшими притязания на Балтику, Данией и Швецией, происходила в 1563—

1570 г. г. ожесточенная борьба, которая отвлекала их силы и внимание от Ливонии. В то же время удавалось оберегать Москву от фланговых ударов со стороны беспокойного южного соседа, крымцев. Внешняя политика польско-литовского государства была парализована предстоящим концом династии Ягеллонов, скреплявшей три столь различные страны и народности, как Польша, Литва и западная Русь.

К концу 60-х годов это выгодное для Москвы положение прекратилось. В Швеции свержение Эрика XIV (1568 г.) и вступление его брата Иоанна III, женатого на Ягеллонке, сестре Сигизмунда II, наметило союз скандинавского государства с Польшей. Вместе с тем окончилась семилетняя война, сковывавшая Швецию. С Иоанна III начинается ряд предпиимчивых королей, которые сумели использовать воинственный пыл шведского дворянства и поднять незначительное государство на степень первоклассной европейской державы. Так на севере вырастает неожиданно противник, запирающий Москве морские выходы, противник странный, который не мог взять сам промышленной и торговой выгоды, ибо не имел индустрии и не занимался транзитом, но который с успехом исполнял роль тормоза в отношении Москвы, задерживая столь опасный в глазах Польши и Германии культурный рост многочисленного и способного народа русского.

Другой ряд неудач для Москвы наметился, благодаря искусной политике последнего Ягеллона. Сигизмунду II удалось победить предубеждения литовского и западно-русского шляхетства против унии с Польшей, и решение люблинского сейма 1569 г. предотвратило опасность отторжения Литвы. Затем Сигизмунд сумел расстроить в Крыму московское влияние и направить хана на поход к Москве 1571 г., который оказался полной неожиданностью для Ивана IV и закончился жестоким разорением замосковного края.

Эти удары судьбы отразились на внутренних делах московского государства в виде тяжелого кризиса 1570—71 года. Для нас в нем много неясного. Открыли изменников, которые подготовляли передачу Новгорода и Пскова Литве; открыли других изменников, которые помогли крымцам незаметно подойти к Москве. Среди лиц, вызвавших опалу Ивана IV и подвергнутых жестокой казни, к недоумению нашему, оказывается дьяк Висковатый, который пользовался неограниченным доверием Грозного и чуть ли не единственный уцелел при первом правительственном разгроме 1564 года. В чем провинился Висковатый? Судя по мнению, поданному им на соборе 1566 г., он был против продолжения войны и, может быть, работал в пользу заключения мира с Польшей. Война за Ливонию, ускользавшую, несмотря на отчаянные усилия, становилась для Грозного настолько больным вопросом, что всякое противодействие в этой области он уже счи-

тал изменой. С гибелью Висковатого уходит последний из советников ранней поры Ивана IV. Выдвигаются совершенно новые люди: братья Щелкаловы, Годунов, Богдан Бельский.

Но как ни велика была подозрительность и несправедливость Грозного, нельзя все „измены" сводить на игру его воспаленного воображения. Если крымский хан был подкуплен подарками Польши, превысившими московские поминки, то можно предположить, что и московские бояре, допустившие нашествие татар, не остались чужды воздействию польской дипломатии. С тем большим основанием можем мы думать, что и в Новгороде, где еще не исчезли предания независимости, завелась настоящая литовская партия.

У нас нет цельного описания того тяжкого кризиса, которое испытало московское государство в 1570—71 г.г., но имеются чрезвычайно выразительные документы, рисующие душевные переживания людей того времени в свете глубоко трагическом. Это рассказ о разгроме Новгорода, произведенном самим Грозным с опричниками, далее переписка Ивана IV с ханом Девлет-Гиреем, исполненная глубокого унижения для московского царя и наконец, изумительное по силе нравственно-политического подъема, единственное в своем роде завещание 1572 года.

Мы читаем во всех трех крайне одностороннюю лирику: о бедствиях Новгорода рассказывает местный летописец, проникнутый глубокой симпатией к своей родине, считающий ее невинной жертвой, а царя изобретателем ненужной жестокости. В своих собственных произведениях Грозный высказывается одиноко, не имея возражателя и критика, свободный в преувеличении или утаивании своих чувств. Но вместе они дополняют друг друга, как в драме, где излагающий действие автор скрыт за сценой и предоставляет нам выводить заключения из речей действующих лиц.

Нечего и говорить, что в расправе над Новгородом 1570 г. Грозный далеко превзошел меру исправительных наказаний, если только вообще они были нужны. Но даже если допустить полную невиновность новгородцев, характерно возникновение страшного суда над ними. Оно показывает, каким проклятием тяготела над московским обществом эта война, тянувшаяся уже 12 лет, не обещавшая конца и выхода и все таки неизбежная для государства. Правительство напрягало все средства, требовало нечеловеческих усилий от подданных. То, что оно называло изменой, может быть, составляло иногда только нерадение, вялость службы; но при данном положении и этого было достаточно, чтобы вызвать гнев высшего командования.

Как ни жестока была экзекуция над Новгородом, нельзя признать поход Ивана IV с большим отрядом верного войска только взрывом беспричинной злости. Грозный не только

дал исход своему необузданному темпераменту, расправившись с действительными или мнимыми изменниками и мятежниками; он старался также исправить поколебленное военное положение. К западной окраине он применил ряд мер в духе обычной московской политики: множество землевладельцев новгородского края было сдвинуто с мест и переведено на другую украйну, а земли переселенных отданы верным опричникам. Мало того: Иван IV занялся расширением опричнины, как военной системы.

Когда историку приходится описывать учреждения, он связывает в одну картину факты, принадлежащие разным годам и разным местам. Цельность его картины воображаемая, искусственная; порядок его описания заключает в себе не строй самих вещей, а ход его мысли. Он в сущности перебирает множество событий, вырезывает из них обрывки, обозначает их условными знаками, и из пометок такого рода составляет свой систематический чертеж. В действительности однако, описанные им учреждения были столкновениями живых людей, бурными действиями. Применяя эти замечания к объяснению опричнины, следует помнить, что шаги ее развития, может быть, по временам судорожные и страшные, теснейше связаны с колебаниями внешней войны.

В 1564 г. бегство Курбского послужило толчком к первым резким действиям Ивана IV в отношении княжат: военная реформа началась с раздробления княжеских гнезд и уничтожения остатков удельного строя. Под влиянием новгородской „измены" и крымского нашествия произошла новая реформа в виде расширения опричнины: преобразование началось также с разгрома старой силы, поскольку она еще сохраняла следы самостоятельности. Царь втянул в круг военного управления новые территории, отодвинул земщину на окраины. Вместо „опричнины" с 1572 г. появляется название „двор". Деятельное демократическое Поморье, северный заволжский, двинский и прикамский край, вызывавший особенное доверие Ивана IV, занимает в расширенной опричнине - дворе самое видное место. Недаром военно-административную систему, реформированную 8 лет спустя после ее возникновения, окрестили новым именем. Напрягая военное право, усиливая военно-податные повинности, правительство как бы хотело возвестить программу последней крайности: „все для войны!"

IX.

Насколько именно в эту пору сильно работала правительственная мысль у Ивана IV, какой широкий горизонт захватывала она, показывает завещание, написанное в 1572 г. Тяжкий стон вступления „умъ острупися, тѣло изнеможе, болѣзнуетъ духъ" — слишком известен и часто приводился

даже в учебниках. Меньше обращали внимания на те практические советы, которые дает Грозный своим сыновьям, удивительные по отчетливой ясности и политической широте взгляда. „А сами живите въ любви, а воинству поелику возможно навыкните. А какъ людей держати и жаловати, и отъ нихъ беречися, и во всемъ ихъ умѣти къ себѣ присвоивати, и вы бъ тому навыкли же; а людей бы есте, которые вамъ прямо служатъ, жаловали и любили ихъ, ото всѣхъ берегли, чтобы имъ изгони ни отъ кого не было, и онѣ прямѣе служатъ, а которые лихи, и вы бъ на тѣхъ опалы клали не вскорѣ, по разсужденію, не яростію. А всякому дѣлу навыкайте и божественному, и священническому, и иноческому, и судейскому, московскому пребыванію и житейскому всякому обиходу, и какъ которые чины ведутся здѣсь и въ иныхъ государствахъ, и здѣшнее государство съ иными государствы что имѣетъ; то есте бы сами знали. Также и во обиходѣхъ во всякихъ, какъ кто живетъ, и какъ кому пригоже быти и въ каковѣ мѣрѣ кто держится, тому бъ есте всѣму научены были: ино вамъ люди не указываютъ, вы станете людямъ указывати, а чего сами не познаете и вы не сами станете своими государствы владѣти, а людьми. А что по множеству беззаконій моихъ, Божію гнѣву распростершуся, изгнанъ есмь отъ бояръ, самовольства ихъ ради, отъ своего достоянія и скитаюся по странамъ“...

Мы встречаем тут старую тему недоверия к прежним советникам и, как всегда у Грозного, в преувеличенном виде. Но она в завещании служит лишним доводом в пользу того, что правитель должен „сам знать“ все отделы администрации, или, как Грозный говорил, в письме к Курбскому: „хочу быть самодержавцемъ и великихъ и сильныхъ въ послушаніи имѣти“. Сознавая в себе мастера и знатока правительственного дела, он силился передать своим наследникам острый интерес к политике, неотступное внимание ко всем ее отраслям.

Завещание 1572 г. интересно нам своим обстоятельным тщательно обдуманным обозрением провинций державы, большую часть которой сложил своими руками сам завещатель. Любопытны выражения, которыми описывает Грозный свои личные завоевания. Казанское и Астраханское царства он приобрел „Божіею помощью“. Ливонскую землю, тоже взятую „Божіею помощью“, царь называет „своей отчиной“; подробно перечисляет он 26 городов, между ними Юрьев, Ругодев, Тарвас, Толшебор, город Долговыя и др. О завоевании 1563 г. Иван IV говорит: „а что по Божией воли взялъ есми у брата своего Жигимонта Августа короля свою вотчину городъ Полоцкъ и т. д.“.

Таков Грозный всегда в политико-географических и хронологических определениях. Он дорожит всеми данными истории своего царствования, любит вспоминать моменты строения великой державы. Второе письмо Курбскому заканчивается словами: „писанъ въ нашей отчинѣ Лифляндскія земли, во градѣ Вольмерѣ, лѣта 7086 года, Государствія нашего 43, а царствъ нашихъ: Россійскаго 31, Казанскаго 25, Астраханскаго 24“.

5. Дипломатия Грозного.

В одном из писем к английской королеве Сигизмунд II, считавший себя особенным мастером дипломатического дела, говорит об опасности проникновения в Москву инженеров, орудий и технических сведений: „ясно, что мы до сих пор побеждали царя только потому, что ему было неизвестно военное искусство, дипломатические приемы и уловки".

В этих словах заключалось большое незнание Москвы и сильное преувеличение ее некультурности.

I.

Европейские наблюдатели любят посмеяться над устарелыми, наивно „восточными" формами московского церемониала. Напр., Герберштейн описывает встречи иностранных послов с московскими уполномоченными, в которых вся суть заключалась в том, чтобы не поклониться раньше и не умалить этим достоинства своего государя. Не надо забывать, однако, что и на западе очень долго придавали значение подобным состязаниям задорного этикета. Еще в 1697 году при заключении мира между Людовиком XIV и австро-английской коалицией, послы старались одновременно вскочить на мосты, ведшие с разных сторон к замку Рейсвейку для того, чтобы малейшим опозданием не признать своего поражения и не нанести ущерба достоинству своей страны и правительства.

На первый взгляд может казаться одной из „азиатских" или „византийских" вычурностей Москвы таблица распределения держав на равные московскому царству и ниже его стоящие. Очень строго различали, кому царь может позволить считаться „братом", и кому должен в этом почете отказывать. В середине XVI века государями-братьями считались турецкий султан, цесарь германский, король польский и крымский хан. За шведским королем Москва не признает равного с собою положения, тем более, что до 1523 г. когда воцарилась династия Ваза, в Швеции, по московской терминологии, были не настоящие монархи, а „обдержатели„ (т. е.

регенты). При появлении в кругу сношений Москвы какой-либо новой державы производилось внимательное исследование данного случая и особая оценка власти иностранного государя в меру его достоинства. Когда при Василии III пришло из Индии посольство от Бабура, в Москве не решились приветствовать султана далекой земли „братом государя“, потому что неизвестно, кто он, государь или „урядник“.

Мы будем, однако, неправы, если увидим во всех этих различениях пустую придирчивость московского правительства: перед нами в сущности то же понятие, что на конгрессах XIX в. разделение держав первокласных и второстепенных; Москва XVI века лишь отметила эту разницу своеобразными терминами эпохи.

Московские дипломаты во всяком случае не чувствовали смущения перед европейцами, напротив, любили брать на себя роль критиков по отношению к иностранным державам, забивать приезжающих в Москву послов текстами договоров и ссылками на исторические хроники, наконец, принимать иронический тон и ловить противника на противоречиях.

В этом отношении характерны речи и выступления Висковатого, дьяка-печатника (канцлера, как его зовут иностранцы), получившего широкую популярность за границей. Рюссов, составитель ливонской хроники, вообще очень враждебный русским, говорит о нем: „Иван Михайлович Висковатый—отличнейший человек, подобного которому не было в то время в Москве: его уму и искусству, как московита, ничему не учившемуся, очень удивлялись иностранные послы“. В 1559 г. Висковатый поучает датское посольство, заявившее Москве ряд предложений по делам ливонского ордена: Дания не должна была принимать жалобы ливонцев, подданных московского государя: обратившись к иностранным державам, ливонцы уподобились неверным слугам, которые, укравши ночью у своего господина часть его имущества, продают ее другому. Московские государи — говорил далее дьяк—не привыкли уступать кому бы то ни было покоренные ими земли; они готовы на союз, но только не для того, чтобы жертвовать своими приобретениями.

Не менее своеобразно отвечают в 1562 г. московские бояре литовским послам, связывая теорию единства русской земли и права московских государей на всю отчину с учением об их неограниченной власти. „Только вспомнить старину, какъ гетманы литовскіе Рогволодовичей, Давила да Мовколда, на литовское княжество взяли и какъ великому князю Мстиславу Владимировичу, сыну Мономаха, къ Кіеву дань давали, то не только что русская земля вся, но и литовская земля вся—вотчина государя нашего; потому что, начиная отъ великаго государя Владимира, просвѣтившего русскую землю святымъ крещеніемъ до ны-

нешняго великаго государя нашего, наши государи — самодержцы, никѣмъ не посажены на своихъ государствахъ: а ваши государи—посаженные государи; такъ который крѣпче — вотчинный ли государь, или посаженный—сами разсудите“.

Бояре не ограничиваются летописной справкой о старинных русских князьях; они предлагают литовским послам поглядеть в литовские хроники и приводят оттуда очень подробные и мало почетные для литовцев сведения о ссорах Ягайла и Витовта, о том, как эти князья в своих усобицах обращались ко вмешательству немцев.

При Иване IV, опять как во времена его деда, основателя империи, Москва поражает иностранные дворы своим дипломатическим мастерством, своими несокрушимо-настойчивыми, наблюдательными, изворотливыми дельцами. Первый из послов, отправленных в Англию для заключения договора, Иванъ Непѣя, до известной степени показался англичанам типом хитрого, неуловимого, себе на уме русского человека. Члены торговой компании, образовавшейся, после возвращения Чанслора, для промышленных сношений с вновь открытым краем, предупреждали агентов, отправлявшихся в Россию, что московский посол крайне недоверчив, все время на стороже, ожидая от всех обмана, а потому они советуют быть осторожными в обращении с ним и другими русскими, „устанавливать точно торги и делать писанные документы, ибо они—тонкий народ, не всегда говорят правду и думают, что другие люди им подобны“.

Большую гибкость и ловкость проявляли те послы Москвы, которым приходилось вести дела при мусульманских дворах. Таков Афанасий Нагой, находившийся в Крыму в 60-х годах, когда так важно было среди разгара Ливонской войны сдерживать воинственный пыл татар, готовых то поддаться подкупу со стороны Литвы и броситься на Москву, то итти вместе с войсками султана на Астрахань. Таковы послы, отправлявшиеся в Константинополь: Новосильцев, посланный в 1571 г., чтобы, под предлогом поздравления Селима II с восшествием на престол, уверить султана в том, что московский царь не притесняет мусульман в своем государстве и чтобы таким образом удержать турок от совместных действий с крымскими татарами на Нижней Волге; Кузьминский, преемник Новосильцева, на долю которого выпала еще более трудная миссия предложить султану дружбу и тесный союз с московским государем для того, чтобы итти за одно против цесаря римского, короля польского и чешского и французского и всех государей италийских (т.е. вообще западно европейских).

II.

Среди московской дипломатической школы в качестве первоклассного таланта выделяется сам Иван IV. Международные дела он считал своей настоящей сферой; в этой области он чувствовал себя выше всех соперников. Недаром Грозный любил выступать лично в дипломатических переговорах, давать иностранным послам длиннейшие аудиенции, засыпать их учеными ссылками, завязывать с ними споры, задавать им трудные или неожиданные вопросы; он чувствовал себя в таких случаях настоящим артистом по призванию. В смысле непосредственного ведения иностранной политики вплоть до выступления в качестве оратора и полемиста Иван IV занимает единственное место среди государей того времени.

В политическом таланте Грозного замечаются однако те самые шероховатости и излишества, которые видны и в его литературной манере, в развлечениях его повседневной жизни: Неуравновешенная натура легко увлекает его к резкостям, к заносчивости. Он никогда не может отказать себе в удовольствии посмеяться над корреспондентом, отметить злым словечком какую-нибудь слабую сторону его. Ирония московских дипломатов обращается у него в дерзкие нападки. Отсюда совсем уже не дипломатичные, иногда бестактные его выходки по отношению к государям второстепенным или пользовавшимся ограниченной властью.

Ему представляется удивительным, что Сигизмунд назвал шведского короля „братом“: разве не известно польскому государю, что дом Ваза, правящий в Швеции, происходит от водовоза? Обращаясь непосредственно к королю Иоанну III, он выискивает все возможные доводы для умаления шведской короны, между прочим, упирает в одно место, вычитанное им из договорной грамоты Густава Вазы, отца Иоаннова: „архіепископу упсальскому въ томъ руку дать за все королевство шведское“. По этому поводу Грозный пишет: „если бы у васъ совершенное королевство было, то отцу твоему архіепископъ и совѣтники и вся земля въ товарищахъ не были бы; землю къ великимъ государямъ не приписываютъ; послы не отъ одного отца твоего, но отъ всего королевства шведскаго, а отецъ твой въ головахъ, точно староста въ волости“.

Этот беспокойно-назойливый тон выдерживается не только в отношении Швеции, которую в Москве вообще не принято было щадить. К дружественным дворам Грозный нередко применял теже приемы насмешливого пренебрежения. Уловив ограниченный характер английской монархии, Иван IV пишет королеве Елизавете бесцеремонно: „мимо тебя люди владѣютъ... мужики торговые о государскихъ головахъ не смотрятъ.. ищутъ своихъ торговыхъ прибытковъ“.

Заносчивость и капризы Грозного стали отражаться в оффициальных нотах, посылавшихся иностранным державам, как только он сам начал заправлять политикой. В дипломатической переписке с Данией личное появление Ивана IV во главе дел ознаменовалось поразительным случаем. Со времени Ивана III московские государи называли датского короля „братом своим“: и вдруг в 1558 г. Шуйский и бояре находят нужным упрекнуть короля за то, что он именует „такого православного царя всея Русіи самодержца“ братом; а „прежъ сего такой ссылки не бывало“. Тому, кто будет читать подряд переписку Москвы с Данией, не трудно заметить, что московские бояре заведомо говорят неправду: конечно, в Москве ничего не запамятовали, ни в чем не сбились, а просто царь решил переменить тон с Данией и вести себя с ней более высокомерно.

Но тот же Грозный мог легко превратиться в очаровательного собеседника, ласкового миротворца, друга свободы и вольностей, мог развернуть широкое понимание привычек и потребностей народа или государства, с которым приходил в соприкосновение. В его богато одаренной натуре уживались, вернее сказать, бурно сталкивались очень противоречивые качества, чувства и понятия.

III.

Как ни тяжел был кризис 1570 — 71 г. г. для Москвы. Грозный не отказался от общей цели западной политики, но и не ослабил своего натиска. Вслед за разгромом Новгорода, весной того же 1570 года он уже готовит новый оригинальный план овладения Ливонией, вырабатывает своего рода политическое изобретение, неожиданное на почве столь трудной для Москвы колониальной войны.

Непосредственное управление русских Ливонией, сопровождавшееся водворением православия, слишком противоречило всем привычкам местного населения к автономии. Надо почитать современную войне хронику Рюссова, чтобы видеть, в какой мере раздражали ливонских горожан московские порядки, насколько приятнее им были шведы с их безразличным отношением к администрации. С другой стороны, Москве приходилось продолжать войну за приморские города, Ревель, Ригу и др., следовательно, надо было располагать свободой для передвижения военных масс. Грозный решил, что выходом из затруднений будет создание в Ливонии особого государства, зависимого от Москвы, при короле, имя и происхождение которого послужит гарантией сохранения всех вольностей.

Воспользовавшись давнишней дружбой с Данией, Грозный посадил в Ливонии в качестве вассала (по московской

терминологии „голдовника“) датского принципа Магнуса. С вновь назначенным королем был заключен обстоятельный договор, в силу которого Иван IV отступался от прямого управления Ливоней; за Магнусом, его наследниками и всеми жителями страны были признаны прежние права и привилегии, суды и обычаи, а также свободное исповедание лютеранства. Далее ливонцам открывалась свободная и беспошлинная торговля в московском государстве, за что, в свою очередь, они обязывались свободно пропускать в Москву иностранных купцов со всякого рода товарами, а также художников, ремесленников и техников.

Для царя самыми важными статьями договора были военные условия. Новый ливонский правитель должен был помочь овладению Ревелем и Ригой: в договоре предусматривалось, что если эти города не признают Магнуса королем добровольно, царь их к тому принудит: Во исполнение этого обещания московский государь брал на свое содержание все военные силы, которые Магнус приведет ему на помощь и подчинял его командованию московских воевод, в случае совместного с русскими ведения войны.

Свой военно-политический план Грозный обставил большой торжественностью и блеском: пышные празднества сопровождали объявление Магнуса королем Ливонии и женихом царской племянницы. Чтобы показать свое расположение к Ливонии и ее новому правителю, Грозный отпустил с ним на родину множество пленных немцев, сидевших по тюрьмам и сосланных на поселение во внутренние области Москвы. Всеми этими мерами царь действительно достиг впечатления. Рюссов говорит: „очень многие тогда радовались и ликовали в Ливонии, будучи вполне уверены, что московит уступит и передаст Магнусу все взятое им в Ливонии. Немецкая свита Магнуса признала его наилучшим и христианским господином, который возведет их до великих почестей и снова возвратит им отечество. Тогда многие во всей Ливонии стали относиться благосклонно к герцогу Магнусу и не знали лучшего утешения и помощи на земле для Ливонии“.

Грозный спешил использовать новосозданное орудие борьбы за Ливонию. Не успели в Москве провозгласить Магнуса королем, как уже царь послал его на осаду Ревеля с 25 тысячной армией; позднее подошло, как выражается Рюссов, „еще одно сильное войско русских, называвшихся опричниками“. Магнус простоял под Ревелем почти 7 месяцев, громил крепостные стены русской тяжелой артиллерией, но не мог взять город, которому шведские корабли подвозили припасы и снаряжения.

Отступление от Ревеля не остановило энергии Грозного. В 1571 г., тотчас же за нашествием Девлет-Гирея мы его опять видим в Новгороде, полкам приказано собираться

в Орешке, у Ладожского озера и у Дерпта, чтобы вести войну со шведами в Финляндии и Эстонии. В следующему 1572 году он снова, как в 1563 под Полоцком, становится во главе командования и бросает в бой лучшие отряды своих опричников. К этому времени относится своеобразный план вербовки для Москвы военных наемников, обученных европейскому бою.

Материал для наемнических отрядов могла теперь доставить сама Ливония, где благодаря непрерывному военному положению разоренные люди и отвыкшая от работы молодежь охотно принимались за солдатское ремесло. Типичную фигуру того времени представляет и первый в Москве предводитель наемников, которому Грозный поручил вербовку, Юрген Фаренсбах (или Юрий Францбек, как его перекрестили русские): ливонский дворянин, совсем еще молодой, но успевший побывать на службе чуть ли не во всех европейских странах, в Швеции, Франции, Нидерландах, Австрии, Фаренсбах попался в плен к русским и прямо из тюрьмы получил свое новое назначение; он набрал семитысячный отряд ливонских и чужеземных так наз. гофлейтов и впервые показал свое искусство против татар на Оке, где под начальством Воротынского удалось отразить новое нападение Девлета-Гирея.

Рюссов замечает с огорчением по поводу успеха вербовки Фаренсбаха: „во веки веков прежде не слышно было, чтобы ливонцы и чужеземцы так приставали к московиту, как в эти годы... Добрые старые ливонцы открещивались от московита, но много молодых, а также и старых ливонцев перешли на его сторону, несмотря на то, что московит без устали домогался их отечества и публично говорил, что не оставит Ливонии в покое до тех пор, пока не вырвет с корнем всю сорную траву, т. е. всех ливонских дворян и немцев. Несмотря на то, многие ливонцы по своей слепоте и неразумию всеми силами старались, чтобы московит как можно скорее и легче уничтожил их“.

Успехи Ивана IV в Ливонии в 1572—3 г. г. получились благодаря полному бездействию Польши и Литвы, где со смертью Сигизмунда II должна была прекратиться династия Ягеллонов. С 1571 г. царь готовится к нападению на самое Литву, восстанавливает разрушенную врагом крепость Таурус, стоявшую против Вильны — старый испытанный Москвою способ подготовки кампании, применявшийся со времени Ивана III к Нарве, Казани и Полоцку. Между тем, кончина Сигизмунда II в 1572 г. поставила на очередь вопрос об избрании короля. Для польско-литовской аристократии явился удобный мотив, чтобы предложить Ивану IV остановку враждебных действий: паны ставили на вид возможность объединения обеих великих стран под одной династией. В

свою очередь для Грозного открылся повод развить большую дипломатическую кампанию с целью окончательного закрепления за собою Ливонии.

IV.

Два раза возобновлялись переговоры между Речью Посполитой и Москвой: в 1573 г., по смерти Сигизмунда, и в 1575, когда вследствие бегства французского принца Генриха Валуа, вновь наступило безкоролевье.

Оба раза партии в Польше и Литве разделялись очень определенно на сторонников и противников царя московского. За него была большая часть шляхты, затем все население нешляхетское и в особенности крестьяне, как сообщает внимательный и острый венецианский наблюдатель. Тяготение к московскому царю средних и нисших классов общества, не имевших участия в выборах и в сеймах, конечно, не имело политического значения. Но оно для нас крайне любопытно как показатель народнического характера московской военной монархии, причем видно, что внутренняя политика московского правительства была хорошо известна заграницей и производила сильное впечатление. Против кандидатуры царя была высшая аристократия, но так как в ее руках находилось ведение переговоров, она легко могла расстраивать все надежды и расчеты сторонников Ивана IV.

В переговорах Московского двора с правительством польско-литовского безкоролевья выступает во всем блеске дипломатический и ораторский талант Грозного. Литовским послам он любит давать личные аудиенции, во время которых произносит длинные речи, делает интересные признания, придумывает оправдания своей политике.

Послу Воропаю, явившиемуся по смерти Сигизмунда, он говорил с большим подъемом: „ваши паны польские и литовские теперь без главы; потому что, хотя в короне польской и великом княжестве литовском и много голов, однако одной доброй головы нет, которая бы всем управляла, к которой бы все вы могли прибегать, как потоки или воды к морю стекают... Если ваши паны, будучи теперь без государя, захотят меня взять в государи, то увидят, какого во мне получат защитника и доброго правителя; сила поганская тогда высится не будет; да не только поганство, Рим и ни одно королевство против нас не устоит, когда земли ваши будут за одно с нашими“.

Грозный старается обстоятельно объяснить причины недавней неудачи своей против татар: он боится, что разгром Москвы в 1571 г. принизил ее значение заграницей, и оправдывается ссылкой на измену воевод. Отсюда новый выгодный довод в пользу его строгости, о которой так много го-

ворят; но пусть эту строгость не принимают за жестокость, он зол лишь на тех, кто зол против него. Ему, впрочем хорошо известно по недавним примерам, что и в Литве изменников не милуют. „Если Богу будет угодно, чтобы я был государем польских и литовских панов, наперед обещаю Богу и им, что сохраню все их права и вольности и смотря, по надобности, дам еще большие. Я о своей доброте и злости говорить не хочу; если бы паны польские и литовские ко мне или к детям моим своих сыновей на службу присылали, то узнали бы, как я зол и как я добр“.

Между прочим, Грозный нашел важным объяснить польским и литовским панам свое отношение к Курбскому: „я и не думал его казнить, хотел только посбавить у него чинов, уряды отобрать и потом помиловать, а он, испугавшись, отъехал в Литву“. Искусным оборотом речи царь предостерегает аристократическое правительство от личности столь ненадежной. „Пусть паны ваши отнимут у него уряды и смотрят, чтобы он куда-нибудь не ушел“.

В той же самой речи, где затронуто столько тем, Грозный высказывает свое главное побуждение к занятию польско-литовского престола: для него все дело в прочном приобретении Ливонии. „Когда буду вашим государем, Ливония, Москва, Новгород и Псков одно будут“. Совершенно неожиданно оказывается, что Полоцк в глазах московского царя ничто иное, как залог для получения Ливонии. „Я за Полоцк не стою и со всеми его пригородами; уступлю и свое московское, пусть только мне уступят Ливонию по Двину; и заключим вечный мир с Литвою; я и на детей своих наложу клятву, чтобы они не вели войны с Литвою, пока род наш не прекратится“.

В Литве у царя было больше сторонников, чем в Польше. Среди литовцев было много недовольных отторжением ряда земель к Польше в силу Люблинской унии; соединение же с Москвой обещало Литве напротив усиление над Польшей. В Литве к тому же считали, что московский государь может дать настоящую и прочную охрану как от татар, так и от германской империи. Польские паны-рада не спешили присылать послов в Москву; литовцы в 1573 г. отправили Гарабурду с рядом предложений. Они просили в короли самого Ивана IV или его младшего сына Федора; от московской династии они хотели получить обязательство в том что не будут нарушаться права и вольности шляхетские; Литве будет уступлен Смоленск и Полоцк.

Царь дал ответ Гарабурде необычайно обстоятельный, продуманный и точный. Прежде всего он ставил на вид, что не ему или его сыну будет почет от избрания в короли, а Литве и Польше, если он на такое избрание согласится. „Знаем, что цесарь и король французский прислали к вам;

но нам это не в пример, потому что, кроме нас, да и турецкого султана, ни в одном государстве нет государя, которого бы род царствовал непрерывно через двести лет; потому они и выпрашивают себе почести; а мы от государства господари, начавши от Августа кесаря из начала веков, и всем людям это известно“.

Все это высокомерное введение должно служить к тому, чтобы с самаго начала поставить литовцев в положение просящих и отсюда сделать вывод о невозможности каких либо территориальных уступок Литве. Лишь после этих заявлений Грозный высказывал обещание, что не будет нарушать права и вольности литовцев и поляков; но тотчас же прибавил требование о почитании своего титула. Очень интересен полный титул, который тщательно выписывает Грозный: „Божіей милостью господарь, царь и великій князь Иванъ Васильевичъ всея Руси, Кіевскій, Владимирскій, Московскій, король Польскій и великій князь Литовскій и великій князь Русскій великого Новгорода, царь Казанскій, царь Астраханскій“—а потом должно было расписать „области русскія, польскія, литовскія по старшинству“. Не упускал Грозный прибавить о сохранении прав своей державы и своей собственной власти. „Вѣрѣ нашей быть въ почетѣ; церкви въ нашихъ замкахъ, волостяхъ и дворахъ, каменныя и деревянныя вольно намъ ставить; митрополитовъ и владыкъ почитать намъ по нашему обычаю... Еще надобно уговориться о дворовыхъ людяхъ, безъ которыхъ я не могу ѣхать въ Польшу и Литву; этихъ людей немного“ (опричнина в это время уже преобразилась во „двор“).

Совершенно определенно ставит Грозный цель расторжения Люблинской унии; сам он готов отказаться от польской короны и искать одной литовской; Литве обещает он возвратить земли, отнятые у нее Польшей, только один Киев должен отойти к Москве. „Хотим держать государство московское и великое княжество литовское за одно, какъ были прежде Польша и Литва“. Мысли Ивана IV, высказанные в личной аудиенции, еще раз подтвердили литовскому послу доверенные лица царя, окольничий Умный-Колычев, думный дворянин Плещеев, дьяки Андрей и Василий Щелкаловы; они еще добавили в успокоение: „Польши не бойтесь: господарь помиритъ съ нею Литву“.

Всего существеннее в уговорах для Ивана IV было обеспечение себе при всяких разделах и всяких случайностях Ливонии. Он хочет избежать личной унии, но достигнуть объединения в тесный союз трех государств, причем одинаково готов, отпустить ли в Литву собственного сына, или видеть в дружественном государстве выбранным цесарского сына, т. е. австрийского эрцгерцога. В один и тот же приезд литовского посла, ему предлагаются очень различные ком-

бинации, но при всех переменных остается одна постоянная величина.

„Что прежде наша отчина была по рѣку Березыню, того мы для покоя христіанского отступаемся; но Полоцкъ со всѣми пригородами и вся земля Ливонская въ нашу сторону, къ государству московскому, и безъ этихъ условій сына нашего Федора отпустить къ вамъ на государство нельзя“. Что же касается вечного мира, то для него условия другие: „Полоцкъ со всѣми пригородами и Курляндія къ Литвѣ, а Ливонія к Москвѣ. Двина будетъ границей, а Полоцку и пригородамъ съ нашими землями граница будетъ по старымъ межамъ; и быть бы всемъ тремъ государствамъ на всѣхъ непріятелей за одно; а въ короли выбрать цесарского сына, который долженъ быть съ нами въ братствѣ и подтвердить вѣчный миръ“.

Вся беда для Грозного состояла в том, что Польша в такой же мере, как Москва, тянулась к Ливонии, так же, как Москва, не могла обойтись без выхода к морю. На этом строил свои рассчеты очень искусный французский агент, Монлюк, хлопотавший за Генриха Валуа. По его словам, Генрих заведет флот, посредством которого всего скорее воспрепятствует Нарвской торговле; далее он приведет в цветущее состояние Краковскую Академию, снабдивши ее учеными людьми; отправит на свой счет в Париж сто польских шляхтичей для зянятия науками. Видно, что Польшу в такой же мере, как Москву, заботила выписка с запада техников, а также возможность обучения своей молодежи заграничной науке.

V.

Неудача поляков с Генрихом Валуа, бежавшим через несколько месяцев после избрания назад во Францию, открыла Ивану IV новую возможность избрания на польско-литовский престол. Папский нунций в 1575 г. с беспокойством доносил в Рим, что только вельможи не хотят московского царя, народ же показывает к нему расположение; московского государя желает все мелкое дворянство, как польское, так и литовское, в надежде через его избрание высвободиться из под власти вельмож.

Однако, избирательная кампания 1575 г. прошла для него неудачно. Вот где плохую службу сослужила ему монархическая самоуверенность, вот где крупный талант его пострадал от мелких досадных недостатков, от неуменья сдержать себя во время, от увлечения своим остроумием, от пренебрежения к противникам.

С самого начала он затронул политическое самолюбие панов, составлявших высшую раду. Те писали ему, по отъ-

езде Генриха, извещая зараз и о восшествии на престол и о его „временном“ отбытии, причем упоминали, что им, панам-радным поручено сноситься с иностранными государями. Иван IV ответил, что посланный уже им гонец Ельчанинов будет дожидаться возвращения короля, а у панов радных не будет: государь ссылается только с государем, а паны с боярами; раз у них есть король, с панами ссылаться непригоже.

Не исполнив необходимых публичных церемоний, к которым привыкла польская и литовская аристократия, не сказавши ни слова о привилегиях, которые он готов предоставить высшему правящему слою, только что получившему золотую грамоту вольностей от Генриха, Иван IV мало занялся обработкой ее членов в отдельности и в тайне. Некоторые из них определенно о том намекали русскому посланнику и даже давали образцы тех писем, с которыми царю следовало обратиться к таким-то и таким-то аристократам. На избирательный сейм, собравшийся в Варшаве в ноябре 1575 г., Иван IV не прислал „большого“, т. е. полномочного посла. Приверженцы Москвы, ожидавшие нетерпеливо заявлений царя, были разочарованы его кратким, сухим и бессодержательным посланием.

В конце концов Иван IV, помимо своих ошибок, был побежден неожиданной международной коалицией, которая не только разбила его кандидатуру, но и выдвинула убийственного для Грозного противника. Первый удар нанес новый враг Москвы, столь презираемый царем—шведы.

Шведский посол на сейме выдвинул сразу самый острый вопрос внешней политики—вопрос о войне против Москвы за Ливонию. Он предлагал бороться общими силами: пусть поляки отдадут шведам свою часть Ливонии, шведы откажутся от денежных сумм, которые они ссудили Польше. Из Ливонии может быть составлено особое владение, в котором править будет шведский королевич Сигизмунд, по матери потомок Ягеллонов. Затем шведский посол предлагал избрать на польский престол королевну Анну, сестру умершего Сигизмунда II Августа. По его мнению, только этим способом уладятся дела польские и шведские, ливонские и московские, будет крепкий союз между соседними государствами, будет мир с турками, татарами и Германией, м о с к о в и т ы б у д у т и з г н а н ы и з Л и в о н и и. Н а р в с к а я т о р г о в л я, с т о л ь в р е д н а я д л я П о л ь ш и и в ы г о д н а я д л я М о с к в ы п р е к р а т и т с я.

У шведов оказался своеобразный союзник в лице турецкого султана. Опасаясь избрания на польский престол сына императора Максимилиана, т. е. представителя враждебного Турции австрийского дома, султан выдвигал своего кандидата, зависимого от турок Седмиградского воеводу

Стефана Батория. Послы Батория дали на сейме блестящие обещания: сохранить все вольности панов и шляхты, сообразоваться во всем с их желаниями; обратно завоевать все отнятое Москвой, для чего он приведет свое войско; сохранять мир с турками и татарами; лично предводительствовать войсками; прислать 800.000 злотых на военные издержки, выкупить пленную шляхту из земель русских, захваченную в последнее татарское нашествие. Эта кандидатура потом сошлась с предложением шведов: Батория стали прочить в супруги королевны Анны.

Сближение Швеции и Турции, северного и южного соседа Польши, заставило Грозного искать союза с Австрией, которая выставила своего претендента на польский престол и была в то же время крайне обеспокоена кандидатурой турецкого ставленника. Но этот союзник никогда не приносил добра России. Ивану IV пришлось впервые узнать все отрицательные стороны тяжеловесной, вечно опаздывавшей, лишенной гибкости и такта австрийской дипломатии.

Цесарское правительство не умело подойти к Москве. Началось с мелочных обид, нанесенных московскому гонцу Скобельцыну, когда он прибыл в Вену. Потом царя рассердили послы императора, приехавшие в Москву: вместо ответа о Польше, они привезли только извинения; и это были в его глазах не настоящие послы, а скорее торговцы, искавшие выгод. В одном важном пункте предложения Австрии сходились с намерениями Ивана IV, именно в вопросе о разделе: чтобы польская корона отошла к цесарю, а литовское великое княжество к московскому государству. Но то время как для царя вся суть этого дележа состояла в том, чтобы обеспечить за собой Ливонию, император, неспособный забыть, что Ливония когда-то составляла часть германской империи, предлагал Ивану IV оставить Прибалтику в покое. Зато он думал увлечь московского царя перспективой овладения Царьградом.

Австрийские послы говорили: „избрание Эрнеста (сына императора) в короли будет очень выгодно твоему величеству: ты, Эрнест, цесарь, король испанский, папа римский и другие христианские государи вместе на сухом пути и на море нападете на главного недруга вашего, султана турецкого и в короткое время выгоните неверных в Азию; тогда по воле цесаря, папы, короля испанского, эрцгерцога Эрнеста, князей имперских и всех орденов все царство греческое восточное будет уступлено твоему величеству, и ваша пресветлость будете провозглашены восточным царем“.

Но Иван IV не склонен был поддаваться на призраки, подобные тем, которые увлекали политических авантюристов, стоявших у власти в XVIII в. На союз христианских государей он смотрел с большим сомнением. Из истории восточ-

ного вопроса он вспомнил и преподнес австрийцам, со свойственной ему иронией, Владислава венгерского, который в свое время заключил союз с цесарем и многими немецкими государями, но был ими покинут и предан туркам, вследствие чего и погиб. Для того, чтобы в такой союз поверить, мало обещаний императора, нужен обмен всех государей, и Грозный упоминает датского короля, о котором забыл император. Что же касается Ливонии, он отводит предложение.

„Ливонская земля наша вотчина, ливонские нѣмцы намъ, дань давали; ливонской землѣ и курской (Курляндии) всей быть къ нашему государству. У насъ тамъ посаженъ голдовникъ; такъ ты бы, братъ нашъ дражайшiй, Максимилiанъ цесарь, въ Ливонскую землю не вступался и этимъ бы намъ любовь свою показалъ; а мы ливонской земли достаемъ и впредь хотимъ искать". Ему бы хотелось, чтобы поляки выбрали Эрнеста, а литовцы московского государя; но если даже Литва не согласится отстать от Польши, пусть и она выбирает Эрнеста.

По всему видно, что Иван IV охладел к мысли о занятии польско-литовского или даже только литовского престола; он готов уступить это опасное положение целиком своему новому союзнику; тем легче надеялся он при воцарении австрийца удержать за собою Ливонию.

Большой дипломатический поход 1573—75 г.г., на который Иван IV потратил столько энергии, изобретательности, ораторского и диалектического искусства, окончился неудачно. Почему бросил он предприятие, в котором, казалось, столько благоприятных данных было на его стороне?

Здесь могли действовать очень реальные соображения: вступать в управление двумя шляхетскими республиками значило не только навязывать себе новые громадные трудности, но также подвергать опасности всю налаженную военно-монархическую систему московской державы. Могли, впрочем, сказаться также причины иного свойства. Приближался страшный кризис, который так рано подкосил организм Грозного. В громадных усилиях, в напряженной борьбе с внешними и внутренними врагами, в трагических столкновениях жизни быстро исчерпывались его таланты, сгорали запасы умственной и моральной энергии. У него опускались руки, одну за другой покидал он свои политические и военные цели. И только еще раз в какой-то отчаянной решимости, не дожидаясь провала своей кандидатуры в Литве, он схватился за план новой истребительной беспощадной войны в Ливонии.

6. Иван IV и Стефан Баторий.

История полна драматизма, но в действительной жизни не все так складно и резко выражено, как в театральной пьесе: „герои“ и „злодеи“ не всегда встречаются непосредственно, развязка наступает не мгновенно, а развертывается медленно и не в том порядке событий, как это нужно драматическому автору для его искусственно построенных эффектов.

Судьба Ивана IV—настоящая трагедия завоевателя, который сорвался на слишком крупной игре, потому что бросил на весы счастья все свое достояние и вместе с потерей новой колониальной добычи глубоко расстроил основы старой империи. Но главный деятель драмы не погиб внезапно вслед за величайшими успехами своими. Он еще пережил период медленного угасания сил, он беспомощно сдался врагу, несравненно ему уступавшему и в дарованиях, и в средствах борьбы.

I.

В 1575 г. не дожидаясь окончания переговоров об избрании на польско-литовский престол, Иван IV возобновил наступление в Ливонии. Опять все направлено на Ревель, опять впереди идет Магнус. Зимой 1575—76 г. г. русские отряды переходят по льду на острова Эзель, Даго, Моон, берут Гапсаль, Пернов и Гельмет. В 1576 г. русско-татарская армия три раза подступала к Ревелю. Эти походы обнаружили громадность военных запасов царя. К началу осады у русских было 2.000 бочек пороху. Они выпустили по городу до 4.000 ядер и зажигательных снарядов. Отбивши два приступа, ревельцы в ужасе обратились к германским городам с мольбой о помощи, указывая на свое положение как передового поста всех европейских государей и городов на Балтийском море; русские придут еще и еще раз; если Ревель перейдет под власть московитов, падет вся Ливония; тяжко выдерживать напор дикого яростного врага, особенно после

неудач он „подобен дикому медведю, который, будучи ранен, делается еще отважнее и страшнее“.

Избрание Батория и крушение плана раздела Польши между Москвой и Габсбургом вызвало Ивана IV на последний, как ему казалось, решительный „великий“ поход 1577 г. В январе этого года 50.000 русских снова появляются под Ревелем с крупными орудиями. Летом, после больших приготовлений в Новгороде и Пскове выступил сам царь. На этот раз ему все как будто благоприятствовало. Даже крымские татары были на его стороне и одновременно с его нападением на прибалтийские владения Польши, произвели набег на Волынь и Подолию. В самой Литве нашлись люди, которые готовы были вступить в изменнические сношения с Москвой.

Иван IV был так уверен в предстоящем успехе, что теперь изменил свою политику относительно Магнуса. В течение 7 лет применял он своего „голдовника“ в качестве промежуточного звена между основными русскими землями и прибалтийским берегом; по новому договору Магнусу были отданы земли к северу от реки Аа, тогда как область между Аа и Двиной царь оставил за собой; вассала отодвинули в тыл на вторые роли, а царь выступил опять непосредственным завоевателем. Когда недовольный этим Магнус попытался действовать самостоятельно и стал захватывать города на свой страх, Грозный написал ему откровенно: „если ты недоволенъ Кесью (Венденомъ) и другими городками, которые тебѣ даны, и ты поди въ свою землю Езелъ, да и въ Датскую землю за море, а намъ тебя имати нечего для, да и въ Казань тебя намъ ссылати; то лутчи только поѣдешь за море, а мы съ Божіей волею очистимъ свою отчизну Виѳлянскую землю и обережемъ“.

Завоеватели не знали теперь никакой пощады: страну жгли и разоряли немилосердно, избивали стариков, молодых уводили в плен. Шел двадцатый год адской, неслыханно-длинной войны. Забыты были все средства привлечь расположение туземного населения. Осталась только одна мысль о завладении территории, хотя бы с остатками народа. Перед опустошительным ужасным налетом все никло, все бежало в отчаянном страхе.

Передовой отряд кн. Трубецкого при своем первом натиске дошел до Крейцбурга на Двине. Следом за ним сам царь берет один замок за другим, Мариенгаузен, Люцин. Режицу, причем немецкие наемники переходят на службу к Москве. Далее были взяты Крейцбург, Зесвеген, Кокенгаузен, отпавший Венден, где отчаявшиеся защитники сами взорвали себя на воздух, Роненбург. Все эти крепости сдавались без сопротивления. Только под Кокенгаузеном Радзивил с небольшим отрядом кавалерии пытался дать отпор. Ходкевич дер-

жал свой 4-тысячный корпус вне Лифляндии, не решаясь встретиться с 30.000 царского войска.

К концу 1577 г. сдалась Ивану IV вся Лифляндия, кроме Риги, Трейдена, Динамюнде. В письме, отправленном Курбскому из Вольмара, Грозный называет себя наследственным владетелем лифляндской земли немецкой речи. Международное положение Москвы тоже не оставляло желать ничего лучшего: в 1578 г. Иван IV заключил соглашение с Крымом, императором и Данией: последняя признала за царем Лифляндию, а также права на будущее приобретение Курляндии.

Правда, в торжестве Грозного чувствовалась непрочность. Свои последние победы он выиграл на бессилии противников, особенно Польши, совершенно расстроенной продолжительным бескоролевьем 1572—76 г. г. Между тем, московское государство дошло до последней степени истощения. У него, как показали ближайшие события, едва хватало сил для обороны собственной территории; несмотря на все успехи в Лифляндии, царь не решился итти за Двину и покорять Курляндию. Не успел он удалиться в Александровскую слободу и распустить свое войско, как поляки, осмелившись, вернулись в Ливонию и стали брать назад одну крепость за другой.

II.

С 1578 г. мы имеем рассказ о войне на западном фронте Рейнгольда Гейденштейна, польского шляхтича, принадлежавшего к партии Батория, и его правой руки Замойского.

Гейденштейн далеко выдается среди других наших источников, повествующих о Ливонской войне. Он, правда, преклоняется перед своими героями, исполнен увлечения блестящею польской шляхтой, ненавидит московитов, но при всем том он хороший наблюдатель и отдает должное врагу. Гейденштейн, видимо, познакомился с русскими летописями, знает историю Пскова, судьбы князей и стольных городов, начиная с Рюрика. Он знает, что Иван III первый положил основание могуществу Москвы, а „ныне царствующий Иван IV еще более увеличил при помощи своего счастья и искусства обширную державу". Громадные царства Казанское и Астраханское он приобрел посредством нового в то время способа, а именно, подкопов и пороха. Московское государство дошло до пределов Персии; благодаря внутренним раздорам ливонцев, Иван IV занял их страну, часто наносил поражения шведам. „Быстро образовавшееся могущество московского царя стало внушать страх не только соседним народам, но даже и более отдаленным, и высокомерие его при таких обширных границах и великих удачах дошло до того, что он презирал в сравнении с собою всех других го-

сударей и полагал, что нет ни одного народа, который бы мог поспорить с ним богатством и могуществом“.

Гейденштейн отмечает безграничную власть царя и беспрекословное повиновение ему подданных. „То обстоятельство, что он один сохраняет во всем высшую власть, и что от него одного исходят все распоряжения, что он волен принимать те или другие решения и властен над всеми средствами для выполнения оных, что он может в короткое время собрать самое большое войско и пользоваться имуществом граждан, как своим для установления своей власти—все это имеет чрезвычайно важное значение для приобретения могущества и успешного ведения войн.

Крайне интересен отзыв Гейденштейна о великой популярности Грозного в своей стране. „Тому, кто занимается историей его царствования, тем более должно казаться удивительным, что при такой жестокости могла существовать такая сильная к нему любовь народа, любовь, с трудом приобретаемая прочими государями только посредством снисходительности и ласки, и как могла сохраниться необычайная верность его к своим государям. Причем должно заметить, что народ не только не возбуждал против него никаких возмущений, но даже выказывал во время войны невероятную твердость при защите и охранении крепостей, а перебежчиков было вообще очень мало. Много, напротив, нашлось и во время этой самой войны таких, которые предпочли верность к князю, даже с опасностью для себя, величайшим наградам“.

Стойкость и послушание русских Гейденштейн объясняет их религиозными убеждениями: „они считают варварами или басурманами всех, кто отступает от них в деле веры... по установлениям своей религии, считая верность к государю в такой степени обязательной, как и верность к Богу, они превозносят похвалами твердость тех, которые до последнего вздоха сохранили присягу своему князю, и говорят, что души их, расставшись с телом, тотчас переселяются на небо“.

III.

У Гейденштейна много любопытных черт для характеристики знаменитого противника Грозного, Стефана Батория, которому выпало на долю разгромить создание двух великих Иванов. Перед нами выступает крупный военный, дипломатический и административный талант, по своей гибкости пригодный действовать как раз в трудной обстановке шляхетских республик и в то же время способный развернуться только в беспокойный военный век, когда вся Европа составляла громадный рынок вербовки, когда уже не война

вызывала солдат, а воинственные незанятые и неспособные заняться мирным трудом люди создавали войны и до бесконечности тянули их.

Стефан Баторий—один из предводителей пестрых наемных отрядов, начиная от Колиньи, Александра Фарнезе и Морица Оранского и кончая Валленштейном, мастеров военной техники, державших армию верой в свою счастливую звезду и на самом деле бесконечно изобретательных и изворотливых. В войске Батория встречаются чуть ли не все нации Европы: помимо поляков, литовцев, русских и венгерцев, которых он набрал в своих старых и новых владениях, под его знамена стекаются немцы, бельгийцы, шотландцы, французы, итальянцы. Очень трудно было держать дисциплину среди этих искателей счастья и добычи, выходцев всех стран Европы, составлявших собственно организованные массы мелких предпринимателей и торгашей. При взятии Полоцка в 1579 г. поляки и венгерцы, единственно занятые жадной заботой, как бы не потерять свою долю добычи, выстраиваются в боевом порядке и бросаются друг на друга. Перед сдачей Великих Лук в 1580 г. венгерцы, расчитывая при штурме получить город на разграбление, убивают русских парламентеров, спустившихся со стены осажденной крепости.

Не менее трудно было политическое положение Батория. Шляхта не хотела ни служить в войске, ни платить налоги; в автономных сеймиках менее всего находилось охотников вникать в интересы государства. Как тут было осуществить план нового короля, состоявший в снаряжении хорошей ударной армии, которую следовало быстрым натиском повести в центральные области московского государства, чтобы отрезать Ливонию и вырвать ее у Грозного!

Оригинальный проект Батория создать постоянное войско из крестьян королевских имений, не прошел. Шляхетские сеймы предлагали королю вместо того никуда негодное посполитое рушенье, т. е. поголовное ополчение, вместо денежной повинности натуральную.

Король должен был не только торговаться с вальным сеймом о налоге, но еще объезжать отдельные воеводства и заключать частные соглашения с особенно непокорными сеймиками, напрасно стараясь внушить шляхетским корпорациям областей, более отдаленных от театра войны, что отвоевание Ливонии имеет общегосударственное значение, что земледельческая страна должна иметь свои вывозные порты и т. д. Каждый год возобновлялась борьба с сеймами, ставившая под угрозу полного крушения раз избранную королем систему. Во время самих походов Баторию приходилось сталкиваться с бесконечными взаимными перекорами панов, у которых были свои понятия относительно распределения коронных должно-

стей: эти притязания гораздо более стесняли короля, чем местнические счеты, составлявшие особенность Москвы.

Баторий сумел удержаться в этих шатких условиях, мало того, искусно использовать таланты шляхты, увлечь большую ее часть к войне, начертавши перспективы польского империализма. После его смерти это дело попадает в слабые руки безталанного Сигизмунда III, но все, что смог осуществить жалкий преемник—завоевание Смоленска, Северской области и временное занятие Москвы—исполнено силами и личностями, которые набрал и вдохновил Баторий. У него был верный глаз на способных людей и обаяние, привлекавшее их. Из военной школы Батория вышел его неизменный спутник, сначала канцлер, потом гетман Замойский „завоеватель городов“, дипломат и политический оратор. Учеником Батория был и молодой Жолкевский, восходящая звезда короткого, рано оборвавшегося империалистического периода Польши, уже не нашедший настоящего применения своих разнообразных дарований.

Шляхту пришлось привлекать обходными путями, записью в отряды добровольцев, наймом на частные средства короля и магнатов; это были ливрейные люди, как во времена Алой и Белой Розы в Англии. Частные войска создавали новые затруднения верховному командованию. Когда при виде грабежа Полоцка вспыльчивый Баторий хватил саблей солдата, тащившего добычу, оказалось, что это был наемник, состоявший на службе гетмана Мелецкого; важный сановник очень обиделся на короля.

В карьере Батория не малую роль сыграло счастье. Трансильванский воевода занял престол Ягеллонов и взял в свои руки войну, тянувшуюся уже 20 лет, когда его великий противник успел дойти до полного истощения. С уверенностью можно сказать, что борьба носила бы совершенно иной характер, если бы Грозный и Баторий встретились в 1566 г., в эпоху первого земского собора, когда организация военной монархии была в цвете сил, когда все чины отозвались с готовностью и энергией продолжать военные действия. Правда, Баторий, воитель по призванию, командир популярный среди солдат, представлял именно тип того государя, какого жадно вызывал в своем воображении Пересветов. Зато Иван IV своими качествами техника и военного администратора мог по своему уравновесить блестящие данные Батория, как стратега и тактика. Вся беда состояла в том, что его военное устройство находилось в полном распаде, что изобретательность, гибкость и приспособляемость Грозного кончились. Московская военная держава представляла обломки прежней системы, поражавшие теперь своей устарелостью.

В. Новодворский, исследователь борьбы за Ливонию в 1570—82 г. г., объясняет неудачи Москвы в последние три

года войны исключительно подавленным состоянием Ивана IV; у царя было громадное войско—до 300.000, которое он не решился пускать в дело, вследствие полной своей растерянности; вот почему Баторий со своими сравнительно незначительными силами мог беспрепятственно делать одно завоевание за другим. Новодворский вполне прав, когда говорит об упадке личности Грозного: перед нами тень того человека, который в 50-х и 60-х годах развернул такую мощь военного и торгового империализма. Но бессилие, бездеятельность, утрата веры в свое счастье, обнаруженные царем, находятся в тесной связи с действительным крушением его дела.

На чем основано представление Новодворского о громадной армии Ивана IV, мы не знаем. Цифры в 300.000, кажется, никогда не было в Москве. В эту же пору после стольких походов, надо думать, было трудно собрать и 50.000. Однако имей Грозный даже и такое войско, он мог бы, если не прямо нападать на корпуса Батория, занятые осадами, то по крайней мере исполнять опасные для польского короля диверсии во фланги, в Ливонию, на Оршу и на Киев. Но, очевидно, таких сил не было, и отсюда новое основание его странного бездействия.

Очень характерно, что вожди наемников, служившие Ивану IV, Магнус и Фаренсбах, покинули его и перешли к Баторию: они правильно почуяли, что дело царя проиграно.

IV.

До решительного столкновения с Баторием Иван IV относился к своему противнику с необычайным пренебрежением. В 1577 г. Баторий был занят осадой отпавшего от Польши Данцига и не мог воспрепятствовать походу Грозного на Лифляндию. Когда польский король жаловался, что царь, без объявления войны, забирает у него ливонские города, Иван IV отвечал: нечего беспокоиться о Ливонии, старой московской вотчине, когда его самого взяли с неведомого Седмиградского воеводства только для занятия польской короны и литовского великого княжества.

При переговорах о вечном мире, Иван IV ставит невозможные требования, между прочим, выдачу ему Киева, Канева и Витебска. Он выдвигает по этому поводу новую династическую теорию: литовские Гедиминовичи происходят от полоцких Рогволодовичей; „эти князья были славные великіе государи, наши братья, во всей вселенной вѣдомые и по колѣнству (родству) намъ братья; поэтому корона польская и великое княжество литовское—наши вотчины, ибо изъ этого княжеского рода не осталось никого, а сестра королевская (ставшая женой Батория) государству не отчичь“. Когда литовские послы, оскорбившись отзывом о новом короле, со-

слались на избрание Давида, происходившего из низкого звания, Грозный ответил с обычной самоуверенностью: „то избранникъ Божій, а здѣсь выбранный мятежом человѣческимъ".

Гейденштейн рассказывает характерный эпизод кампании 1578 г., который рисует Грозного в виде какого-то древне-азиатского Ксеркса, недопускавшего и мысли о непоправимых ущербах своего могущества. У московитов пушки были все с особыми именами (волк, ястреб, девушка, и пр.) и с изображениями соколов. Когда эти пушки-личности были отняты шведами, „московский царь тотчас приказал вылить другие с теми же названиями и знаками, и притом в еще большем против прежнего количестве: для поддержания должного представления о своей мощи он считал нужным показать, что судьба не может у него взять ничего такого, чего бы он при своих средствах не мог в короткое время выполнить еще со знатным прибавлением".

Эти приемы достигали, видимо, цели и создавали представление о бесконечной власти московского царя. Польский писатель приводит мнение турецкого министра Магомета „умнейшего советника последовательно трех восточных государей", который заметил послам Батория: „король берет на себя трудное дело; велика сила московитов, и за исключением моего повелителя, нет на земле более могущественного государя".

В своем рассказе Гейденштейн несколько раз возвращается к замечательному устройству крепостной системы, возведенной со стороны Москвы вдоль длинной литовской границы. Особенно укреплена была полоса между Двиной и Днепром, где поднимались замки, угрожавшие Витебску и самой Вильне (особенно замечательна Суша, выстроенная на литовской территории). Эти крепости были окружены громадными пустырями, непроходимыми дебрями, которым московиты дают разростаться, чтобы затруднить движение неприятеля. Все укрепленные пункты обильно снабжены провиантом и военными снарядами. Когда в 1580 г. Замойский взял крепость Велиж, „провианту, фуража, пороху и военных снарядов было найдено в этом городе так много, что не только наделили все наше войско, но еще осталось всего столько, сколько нужно было для гарнизона".

Несмотря на исключительные трудности борьбы в этом районе, Баторий решает напасть именно здесь. Прежде всего он руководится стратегическими соображениями: отрезать от Москвы Ливонию и угрожать одновременно Смоленску, Пскову и Новгороду. Другое побуждение состояло в том, чтобы разрушением крепостного клина, вдавшегося в литовскую территорию, освободить движение торговых караванов, направлявшихся по главным артериям торговых сношений Литвы, Днепру, Двине и ближайшим их притокам.

Первый удар Батория был направлен на Полоцк, за 16 лет до того отнятый у Литвы. Грозный не предвидел нападения. На выручку крепости двинулись воеводы Шеин и Шереметев, но не решаясь сразиться в открытом поле с войсками Батория, они заняли ближнюю к Полоцку крепость Сокол и старались препятствовать подвозу провианта у противника. Баторий применил под Полоцком свое новейшее изобретение, раскаленные ядра, которые вызывали пожары в стенах и внутри города. Осажденные оборонялись с необыкновенным упорством в течение трех недель, выдержали ряд ожесточенных штурмов, но вынуждены были сдаться, когда сгорели почти все укрепления города.

Король предоставил москвитянам на выбор, итти ли к нему на службу или возвратиться на родину. По рассказу Гейденштейна, большая часть, побуждаемая любовью к своему дому и преданностью царю, предпочла службу своему государю, „хотя каждый из них мог думать, что идет на верную смерть и страшные мучения. Однако, царь пощадил их или потому, что, по мнению его, они были вынуждены сдаться последней крайностью, или потому, что он сам, вследствие неудач, упал духом и ослабел в своей жестокости“.

Все, что мы слышим о Грозном в эту пору, сходится на одном впечатлении: царь глубоко подавлен и смирился; нет его прежней беспощадной требовательности. Вот еще одна подробность из рассказа польского историка. Вслед за Полоцком, Баторий взял крепость Сокол. Царь в это время находился недалеко, во Пскове, но не тронулся с места, чтобы оказать помощь стесненному гарнизону. Удаляясь в глубину государства, Грозный посылает отряду Суши, крепости, затерянной среди натиска врагов, характерную грамоту. Гарнизону покинутой крепости он позволяет, испортив пушки и в особенности порох и остальные военные орудия, которые нельзя унести с собою, закопав в землю образа и священные вещи, чтобы они не послужили предметом насмешки для неверных, спасаться каким бы то ни было способом, не потому, чтобы он сомневался в их верности, а потому, что он не желает подвергать их доблесть, которую он хотел бы сохранить для более важных подвигов, ненадежному испытанию и жестокости неприятелей.

В начале 1580 г. Иван IV созвал в Москве духовный собор для того, чтобы изыскать средства на продолжение войны. Характерно, что царь не решился на этот раз так, как за 14 лет до того, пригласить на совещание военных людей; вероятно, в этих кругах господствовало большое уныние, а, может быть, Грозный опасался оппозиции. Собору он заявил, что бесчисленные враги восстали на его державу, что он с сыном своим, с вельможами и воеводами бодрствует день и ночь для спасения государства, что духовенство обя-

зано помочь ему в этом великом подвиге; войско скудеет и нуждается, а монастыри богатеют. Собор приговорил отдать в государеву казну земли и села княжеские, пожалованные духовенству или духовенством купленные, равно, как имения, заложенные духовенству.

Правительство принимает меры против уклонения от военной службы—первый знак, что начинает расшатываться дисциплина: детей боярских, находящихся в бегах, отыскивают особые чиновники, разъезжающие по областям, бьют кнутом и после предварительного заключения, отправляют на государеву службу во Псков.

В дипломатических сношениях Иван IV сразу переменил тон. Когда Баторий вышел во второй поход весною 1580 г., царь отправил к нему грамоту, согласно которой „смиряясь передъ Богомъ и передъ нимъ, королемъ, велѣлъ къ нему своимъ посламъ итти“. Для того, чтобы в достаточной мере оценить эту уступку Грозного, надо вспомнить, что до тех пор никогда московские послы не ездили в Литву, и переговоры с польско-литовским государством велись исключительно в Москве.

В предшествующие годы оба они всячески старались обидеть друг друга, например, не спрашивали о здоровье государя, не вставали на аудиенции при поклоне, передаваемом послами от имени государя; из за такого нарушения этикета обрывались переговоры. Теперь Иван IV предписал своим гонцам: „если король о царскомъ здоровiи не спроситъ и противъ царского поклона не встанетъ, то пропустить это безъ вниманія: если станутъ безчестить, тѣснить, досаждать, бранить, то жаловаться на это приставу слегка, а прытко объ этомъ не говорить, терпѣть“.

Но так как пока еще ни слова не было сказано о возможных уступках, Баторий двигался без остановки вперед. Он назначил сбор войскам в крепости Чашники, откуда дорога разветвлялась на Смоленск и Великие Луки. Чтобы держать царя как можно дольше в неизвестности относительно цели похода, Баторий устроил в своем лагере совещание,—нападать ли на Смоленск, Псков или Великие Луки, хотя у него давно уже решено было последнее... Московские силы пришлось раздробить, отдельные отряды были посланы к Новгороду, Пскову, Кокенгаузену, Смоленску; сильные полки должны были остаться на юге, где мог появиться хан.

Под Великими Луками повторилось то, что уже раз было под Полоцком. Отборному войску Батория, состоявшему из 35.000, крепость могла противопоставить лишь 6, самое большее 7 тысяч гарнизона. Иван IV не нашел возможным прислать войско на освобождение города от осады: точно также ближние к Великим Лукам крепости Озерного края, Невель, Озерище, Заволочье не могли выделить помощи из своих

гарнизонов. Все укрепления защищались врозь и перешли одно за другим в руки неприятеля.

V.

Положение Ивана IV становилось все хуже и хуже. Зимою 1580—81 г. г. польско-литовские войска остались на московской территории; им удалось еще взять Холм и сжечь Старую Русу; другие отряды при участии Магнуса, поступившего теперь на польскую службу, продвигаясь вперед по Ливонии, опустошили область Дерпта, где всего прочнее утвердилась русская колония. Одновременно начались успехи шведов на побережьи Финского залива под начальством французского выходца Понтюс-Делагарди; в короткий срок русские потеряли Кексгольм, Падис под Ревелем, Везенберг; почти вся Эстония перешла в руки шведов. Баторий стал хлопотать о третьем походе, которому он намерен был придать решающий характер.

На сейме, созванном в феврале 1581 года, король объявил, что нельзя класть оружия, пока не обеспечено обладание всей Ливоний, пока царь получает из балтийских гаваней все нужное для усиления своего могущества; надо нанести врагу такой удар, чтобы у него не только не выросли снова крылья, но и плеч больше не было, надо отодвинуть его подальше от моря. Он ставил на вид невыгодность существующего порядка, в силу которого приходится каждый раз отрываться от поля военных действий, чтобы добыть соизволение сейма на сбор налога. После долгих пререканий депутаты согласились дать вперед налог за два года, под условием, чтобы этот поход был последним: они указывали на изнурение шляхты и крестьян поборами, на их крайне бедственное положение.

Настроение в польско-литовском государстве далеко не отвечало энергии Батория и его штаба. Иван IV учитывал те внутренние затруднения, с которыми приходилось бороться его противникам; через своих агентов он поддерживал сношения с аристократами враждебной Баторию партии, а в то же время, продолжая настаивать на переговорах, слал своим уполномоченным инструкции за инструкциями.

Интересно наблюдать, как в нем борется искусный, гибкий дипломат, умеющий во время уступить, с задорным полемистом, для которого величайшее наслаждение пустить в противника едкое слово. Хорошо, пускай московские послы не придираются, чтобы целиком писалось царское имя; но они должны говорить: „государю нашему царское имя Богъ далъ, и кто у него отниметъ? Государи наши не со вчерашняго дня, извѣчные государи“. Но тут же спохватывается, что сказал лишнее и спешит обеспечить послам при-

личное отступление. „Если же станутъ спрашивать: кто же со вчерашняго дня государь?—отвѣчать: мы говорили про то, что нашъ государь не со вчерашняго дня государь, а кто со вчерашняго дня государь, тотъ самъ себя знаетъ".

Чем более уповал царь на свое дипломатическое искусство, тем упорнее отстаивали его уполномоченные уже потерянные в двух кампаниях владения. В лагере Батория под Невлем московские послы предлагали разделить Ливонию и обоим государям именоваться Ливонскими. Переговоры продолжались в Варшаве перед глазами еще нераспущенного сейма. Всех поражала цепкость и хитрость царских послов, вращавщихся так свободно в чуждой им обстановке. Баторий был однако неумолим, требовал всей Ливонии, кроме того, уступки Себежа и уплаты 400.000 золотых за военные издержки.

„Вся Ливония" означала потерю Нарвы, т.-е. выхода к морю, окна в Европу. На это последовал новый взрыв гнева, так долго сдерживаемого Грозным. Он отправил Баторию знаменитую грамоту, начинавшуюся словами: „мы, смиренный Іоаннъ, царь и великій князь и всея Руси, по Божьему изволенью, а не по многомятежному человѣческому хотѣнію". Грозный обвинял противника в кровожадности. „Мы ищемъ того какъ бы кровь христіанскую унять, а ты ищешь того, какъ бы воевать; такъ зачѣмъ же намъ съ тобой мириться?— и безъ миру то же самое будетъ". Царь развертывает свою ученость, сравнивает Батория с Амаликом, Сеннахеримом и с воеводой Хозроя Сарваром. Нарушением всех преданий и международного права ему кажется притязание короля на выкуп: ведь в Ливонии он, царь,—наследственный государь. Баторий—пришлец, который осмеливается требовать выхода по басурманскому, татарскому обычаю.

Эта полемика, остаток старых счастливых времен, производит грустное, досадное впечатление. Баторий поднимает перчатку и отвечает в задорном стиле века. Называя царя Каином, фараоном московским, Иродом, Фаларисом, волком, вторгнувшимся к овцам, ядовитым клеветником чужой совести и плохим стражем своей собственной, он не забыл кольнуть Ивана IV в самое уязвимое место: „почему ты не приехал к нам со своими войсками, почему своих подданных не оборонял? и бедная курица перед ястребом и орлом птенцов своих крыльями покрывает, а ты, орел двуглавый (ибо такова твоя печать) прячешься". Издеваясь над трусостью Ивана IV, король вызывал царя на личный поединок.

VI.

Поход 1581 г. был направлен на Псков, сильнейшую крепость окраины московского государства, давнишний оплот против западных врагов, прославленный борьбой с ливонским

орденом. В совещаниях с военными начальниками под стенами крепости, король объяснил, что Псков—ворота в Ливонскую землю; если принудить его к сдаче, вся эта страна достанется в руки завоевателя без пролития крови.

Могло казаться, что Псков будет взят штурмом или сдастся под давлением артиллерийского огня, как Полоцк и Великие Луки. Но Баторий встретился с целым рядом трудностей. В Пскове находился многочисленный гарнизон; воевода кн. Иван Петрович Шуйский обнаружил себя человеком исключительной энергии. Снаряжение в крепости было обильное: своими громадными ядрами псковичи наносили немалый вред осаждающим. На первом приступе венгерцы и поляки, лучшие из солдат Батория, пробили брешь в стене и взяли две большие башни, Покровскую и Свинусскую. Но осажденные выбили штурмующих из занятых ими позиций.

Эта неудача до тех пор непобедимого врага произвела огромное нравственное впечатление на обе воюющие стороны. Осажденные начали пробовать вылазки, подводить подкопы к вражеской линии, и Шуйский даже сделал попытку напасть на польский лагерь. Баторий и Замойский, вынужденные перейти к правильной осаде города, встретились с ропотом и неповиновением своей пестрой армии. Литовцы определенно заявили, что на зиму не останутся. На собраниях солдаты, не слушая ротмистров, требовали хороших зимних квартир, другие грозили уехать домой, третьи кричали, что не двинутся с места, пока им не будет уплачено жалованье. Наемники шумели, что ведь они сражаются с опасностью жизни ради чужих выгод и за провинцию, от которой не достанется ни им самим, ни государству никакой пользы.

Успокоить войско удалось только обещанием короля, что скоро будут начаты переговоры и, следовательно, близится окончание военных действий. Момент мог быть решающим в пользу Москвы, если бы у Грозного оставались какие нибудь силы для наступления. Но царь дошел до полной беспомощности. Особенно резко сказалось бессилие его, когда Радзивил с летучим отрядом беспрепятственно дошел до Ржева и чуть не взял самого Грозного в плен в его старицком лагере.

Под Псковом сорвалась великая цель, которую в своем победоносном движении осмелился поставить себе Баторий, когда расчитывал окончательно разгромить Москву. Он даже не мог обеспечить за Польшей Ливонию, пока в руках Грозного оставалась Нарва, и возможность сношений с Европой, Здесь окончательный удар нанес враг, к которому с пренебрежением относились обе воюющие стороны,—шведы. Из Нарвы русские увели часть гарнизона, отправив ее на подкрепление Пскова. Делагарди поспешил воспользоваться положением вещей, перешел со смешанным наемным войском, в котором были, между прочим, итальянцы и немцы, по льду

Финский залив, взял Тольсбург, Гапсаль, Вейсенштейн и Нарву: у Грозного не осталось больше владений у моря. Ко всем бедам присоединилась еще опасность восстания казанских и астраханских татар; изменил Москве и старый союзник, Дания.

Среди этих исключительно тяжелых военных обстоятельств, у царя, физически и нравственно разбитого, старика в 50 лет, нашлась энергия гениальным дипломатическим ходом спасти глубоко потрясенную империю. Вспомнив про заветную мечту пап о сближении православной Москвы с католической церковью, Грозный решил использовать римского первосвященника в качестве защитника против страшного завоевателя, призвать его быть посредником в великой международной распре. Еще во время великолуцкой кампании московский посол Истома Шевригин был отправлен в Италию через Любек и Прагу.

VII.

Валишевский, офранцуженный поляк, автор блестящей, остроумной и легкомысленной книги об Иване Грозном, изображает в юмористическом виде миссию Шевригина. Этот невежественный московит не знал, что Венеция самостоятельное государство, а вовсе не часть папских владений; он не интересовался чудесами искусства, которыми папский двор готов был одарить царя и его посольство, говорил лишнее о неудачах своего государя. Привезенное им письмо царя Валишевский находит странным и бестактным; московский властелин выражал желание, чтобы „папа приказал Баторию бросить союз с неверными, прекратить войну против христиан“.

Однако, уместно ли вообще смеяться над незнакомством Шевригина с политической картой Италии! Ну, а при папском дворе многие-ли ясно представляли себе, где находится Псков, на какой реке стоит Москва, в какое море впадает Волга? Историк тут же на другой странице сообщает об ответном послании папы Григория XIII, в котором выражен привет царице Анастасии, умершей за 20 лет до того; судя по этой мелочи и осведомленность, и тактичность папской канцелярии стояли невысоко!

В том же шутливом стиле рассказывается, как „варвару“ и „неучу“—царскому гонцу привелось не только создать сближение между Москвой и Римом, которому так старательно и упорно в течение века сопротивлялась Польша, но как, больше того, он добился прямого давления со стороны Рима на врага Москвы. Шевригин кажется Валишевскому почти Иванушкой дурачком в сложной дипломатической игре, которая привела к отправке в Москву иезуита Поссевино и заключению почетного для Ивана IV мира. Он и самого Грозного готов считать случайной фигурой в этом свалившемся с неба счастье. Но тогда вообще ничего нельзя понять во всей изумительной

истории вмешательства папы и заключения мира! Ведь московская миссия увенчалась успехом, тогда как вызванный ее появлением проект, которым вдохновился папский двор и его искуснейший эмиссар—вовлечение Москвы в унию с католичеством—оказался сплошным заблуждением западной дипломатии. Кто же тут был изобретателем, кому удалось провести до конца весь задуманный план?

Самый приезд папского посла к московскому двору перед началом осады Пскова показывал Ивану IV, что положение его далеко не безнадежно. В Старице Поссевино был встречен с восторгом, как устроитель желанного мира. Но в тоже время Грозный проявил необычайную сдержанность: в Москве не допускались ни католические церкви, ни какие-либо учреждения иезуитов; московский двор лишь выражал свое согласие на дипломатический обмен с Римом и на свободный проезд папских миссий в Персию. Папский престол не получил никаких привилегий; возможность привлечения Москвы в лоно католической церкви оставалась столь же туманной и неясной, как и раньше, а между тем посол папы должен был приступать к своей посреднической роли.

С другой стороны, ему приходилось склонять к миру счастливого победителя. Поссевино попытался оказать давление на Ивана IV отправкой письма, в котором изображал отчаянное положение Пскова, подход подкреплений к осаждающим и неминуемо предстоящее падение крепости. Для московского царя письмо послужило побуждением выставить очень определенный проект, выработанный им вместе с наследником престола и боярами: он предлагал Баторию удержать за собой завоеванные литовцами ливонские города, но уступить Москве назад Великие Луки, Невель, Заволочье, Холм и псковские пригороды, забранные королем; на этой основе он готов отправить послов при непременном условии, чтобы посредником был „папинъ посолъ Антоней“.

Положение иезуита было необычайно трудно. Обе стороны не доверяли ему, не соглашались открывать ему свои условия и каждый, рассчитывая на стесненные обстоятельства противника, готов был затягивать переговоры. Первое время зимняя квартира Поссевино в Запольском Яме, составлявшая собственно курную избу, служила только местом, где послы двух воюющих держав обменивались резкостями и со скандалом расходились.

Иван IV дал своим уполномоченным, князю Елецкому, козельскому наместнику Олферьеву, дьяку Басенку Верещагину и подъячему Связеву очень подробные инструкции, предусматривая целый ряд частностей и случайных возможностей. Они усердно выправили свою службу, отстаивая до последней крайности остатки ливонских владений так, что был момент, когда Замойский под влиянием их упорства готов был отказать-

ся от нескольких крепостей в Ливонии. Московский царь был, однако, в такой мере стеснен войной, что сам предусмотрел в инструкции на крайний случай уступку всей Ливонии.

Искусство московских послов направилось на формальности, которым дипломатия восточно-русского двора всегда придавала большое значение. Они цепко отстаивали обозначение Ливонии отчиной царя, которую он добровольно уступает чужому властителю; они пытались ввести в договор уступку Риги и Курляндии, которые никогда не находились в обладании Москвы; они зорко следили за тем, чтобы Польша не заявила потом своих притязаний на территории и города, захваченные шведами. Упорно спорили они также из за двинских крепостей, захваченных неприятелем: о Полоцке впрочем, и речи не поднималось, его Иван IV уступал молчаливо; но в переговорах послы сумели добиться отдачи назад взятого Баторием Себежа, крепости, господствовавшей над входом в долину р. Великой и в свое время выстроеннной в качестве передового поста для наступления на Вильну.

Наивно выразилась дисцилина, в которой Иван IV держал подчиненных чиновников, в следующем эпизоде. За возвращение Себежа Баторию нужно было отдать Велиж. Поссевино говорил московским послам, что если они боятся за эту уступку гнева царя, он готов отдать за них свою голову. На это они заявили, что если бы каждый из них имел десять голов,царь приказал бы снять все эти головы за такое попустительство.

Послы проявили обычные черты московской дипломатии, долго упирались в вопросах этикета, доказывали историко-архивными ссылками необходимость присудить их государю титул царя. Но вся эта когда-то блестящая стройно налаженная ученость Посольского приказа была теперь в упадке в связи с глубоким унижением, которое вообще вынужден был претерпеть московский двор. После отчаянных препирательств, сопровождавшихся угрозами московских послов оборвать переговоры, Ивана IV прописали в договорной грамоте великим князем: опять обнаружилось, что в инструкции на крайний случай стояло согласие Грозного и на это умаление своего достоинства. В историческом споре, затеянном послами, согласно московским обычаям, они оказались не на высоте, запутавшись в примерах, которые, может быть, внушены были самим царем: они ссылались на передачу царского титула князю Владимиру императорами Гонорием и Аркадием, а когда Поссевино указал им на хронологическую ошибку в 500 лет, нисколько не смутясь, стали уверять, что то были другие Гонорий и Аркадий, жившие позже (Новодворский думает, что москвичи смешали их с другой парой братьев-императоров, Василием и Константином византийскими, современниками Владимира).

Ям-запольский мир 1582 г. составляет трагическое завершение великой войны. Ее главной целью было открыть доступ к морю, вступить в общеевропейский обмен, занять положение в европейском мире. Но промежуточная страна, Ливония, и сама по себе представляла ценное владение, в котором за 20 лет москвитяне сумели довольно прочно утвердиться: искусство в деле обрусения и колонизации западных областей стояло в XVI в. во всяком случае не ниже, чем в XIX, а вернее даже выше. Во время мирных переговоров московские уполномоченные отдали большое внимание вопросу о возвращении церковных имуществ, помещенных в Ливонии; православных церквей было немало выстроено в восточной части края.

Уступка Ливонии означала для множества русских, в ней приживших, выселение; Гейденштейн рассказывает, что русские оставляли Дерпт с большим сожалением, так как с ним связаны были для них весьма дорогие воспоминания: женщины, сбегаясь на могилы мужей и детей, отцов и родственников, испускали страшные рыдания, покидая родное пепелище. Другой современник, польский монах Пиотровский, обращает внимание на следы замечательной военной огранизации, которую развил побежденный враг в ливонской окраине: „нас всех изумляло, что во всякой крепости мы находили множество пушек, изобилие пороха и ядер, больше чем мы сами могли набрать в нашей собственной стране... мы точно приобрели маленькое королевство; не знаю, сумеем ли мы что нибудь сделать с ним“.

VIII.

Московское царство спаслось от угрожавшей ему гибели, спаслась и династия, сохранилась в неприкосновенности власть царя, остались спокойны классы общества. Иван IV умирал в полном обладании громадной империи и всей стройной системы службы и повинностей, которую он еще усовершенствовал своими реформами. Последствия войны стали обнаруживаться только при его преемниках, уже не имевших его авторитета и обаяния: пришлось делать уступки военному сословию, глухо выражавшему свое недовольство, стали обозначаться признаки Смуты.

Что же избавило московскую военную монархию от немедленной катастрофы, отчего за войной не последовала по пятам революция? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, пришлось бы повторить многие страницы данного очерка, напомнить о политическом разуме и слаженности учреждений, об искусстве династии, умевшей стать над классами и держать их в строгом повиновении и порядке, о громадности военных средств Москвы. Все это приходит в упадок к концу войны: в 70—80-х годах нет прежних талантливых дипломатов и воен-

ных. Ивана Грозного окружают посредственности, деятели усердные и второстепенные. Но еще работает великолепная старинная школа, правящие круги не растерялись, не утратили самообладания и уважения к себе, не подавлены еще слепой верой в чужие образцы, как потом в XVII в.

Московское государство в эпоху военного разгрома живет еще старыми запасами сил, накопившихся за целое столетие. Не успел также истратиться и разладиться и тот изумительный человеческий материал, который зовется русским народом, та крепкая, бедная потребностями, долготерпеливая, привязанная к родному краю раса, которая составляла основу и оборону империи.

Давно сказано, что лучшую похвалу услышишь от врага. В хронике Рюссова, ярого ненавистника вторжения московитов в Ливонию, есть удивительное признание великих пассивных добродетелей русских, которое еще больше оттеняется беспощадным суждением автора о своих „культурных" соотечественниках. „Русские, говорит Рюссов, в крепостях являются сильными боевыми людьми. Происходит это от следующих причин. Во первых, русские—работящий народ: русский в случае надобности, неутомим во всякой опасной и тяжелой работе, днем и ночью, и молится Богу о том, чтобы праведно умереть за своего государя. Во вторых, русский с юности привык поститься и обходиться скудной пищей; если только у него есть вода, мука, соль и водка, то он долго может прожить ими, а немец не может. В третьих, если русские добровольно сдадут крепость, как бы ничтожна она ни была, то не смеют показаться в своей земле, так как их умерщвляют с позором; в чужих же землях они не могут, да и не хотят оставаться. Поэтому они держатся в крепости до последнего человека, скорее согласятся погибнуть до единого, чем итти под конвоем в чужую землю. Немцу же решительно все равно, где бы ни жить, была бы только возможность вдоволь наедаться и напиваться. В четвертых, у русских считалась не только позором, но и смертным грехом сдать крепость".

Ивану Грозному достался по наследству этот клад, невидный по внешности. Его самого судьба наделила исключительными данными выдающегося правителя и воителя. Его вина или несчастье состояло в том, что поставивши громадную цель превращения полуазиатской Москвы в европейскую державу, он не мог во время остановиться перед возрастающим врагом, что он растратил и бросил в бездну истребления одну из величайших империй мировой истории. Опять таки оправданием или объяснением этой невольной трагедии может служить его личная судьба: так же как он быстро исчерпал средства державы, он вымотал свой могучий организм, истратил свои таланты, свою нервную энергию.

7. Посмертный суд над Грозным.

Если бы Иван IV умер в 1556 году, историческая память присвоила бы ему имя великого завоевателя, подобного Александру Македонскому. Вина утраты покоренного им Прибалтийского края пала бы тогда на его преемников; ведь и Александра только преждевременная смерть избавила от прямой встречи с неминуемой гибелью и распадением созданной им империи. Грозному также простили бы его опричнину и казни, как прощаются Александру злые убийства сподвижников, причуды и бред величия. Несчастье Ивана IV в том, что ему пришлось пережить слишком ранние свои успехи; слава его, как завоевателя, померкла, дипломатические и организаторские таланты его забылись, он попал в другую историческую рубрику, под титул „тиранов", присоединился к обществу Калигулы, Нерона, Людовика XI и Христиерна II, в проблеме его личности психиатрические мотивы выступили чуть ли не на первое место.

Как могла получиться такая пренебрежительная оценка этой во всяком случае очень крупной исторической личности?

I.

В самом начале XVII века вышла во Франции написанная по латыни и тотчас же переведенная на французский язык монументальная Всеобщая история де Ту (de Thou, или Thuanus, жил 1553—1617). В этой книге, быстро получившей популярность и много раз переиздававшейся потом еще в XVIII в., подробно рассказаны судьбы европейских государств, в том числе Москвы за вторую половину XVI века. Мы получаем здесь ряд характерных данных, для того, чтобы судить, какое представление об Иване IV сложилось в Западной Европе в среде ближайших к нему поколений.

Приступая к рассказу о Ливонской войне, де Ту дает очерк истории возвышения Москвы. О самом Иване IV он говорит: „Государь столь же счастливый и храбрый, как его отцы, который вдобавок, соединяя хитрость и тонкий расчет с суровой дисциплиной в военном деле, не только сохра-

нил обширное государство, оставленное Василием, но сумел далеко раздвинуть его границы. Завоевания Ивана IV дошли до Каспийского моря и царства персидского. Этот царь знаменит великими делами, блеск которых иногда омрачала его жестокость". Затем историк передает об изумительной военной системе московской державы, о необычайном послушании воинства и прибавляет: „нет государя, которого бы более любили, которому бы служили более ревностно и верно. Добрые государи, которые обращаются со своими народами мягко и человечно, не встречают более чистой привязанности, чем он".

Подробно излагает де Ту ход Ливонской войны, переговоры между Польшей и Литвой и особенно борьбу Ивана IV с Баторием. Заключение очень мрачно для Москвы и заставляет историка высказать новое суждение о царе, которое отчасти расходится с вышеприведенным. „Так кончилась Московская война, в которой царь Иван плохо поддержал репутацию своих предков и свою собственную. Вся страна по Днепру до Чернигова и по Двине до Старицы, край Новгородский и Ладожский были в конец разорены. Царь потерял более трехсот тысяч человек, около 40.000 были отведены в плен. Эти потери обратили области (Великих) Лук, Заволочья, Новгорода и Пскова в пустыню, потому что вся молодежь (этого края) погибла во время войны, а старшие не оставили по себе потомства".

Де Ту, видимо, писал на основании сведений главным образом польских и ливонских авторов, а также известий дипломатитеских миссий, посещавших Россию. Некоторые частности его рассказа, напр., объяснение верности русских царю, их восторженной религиозности, или картина великого плача русских при исходе их из Дерпта—почти прямое повторение современных Грозному иностранных авторов. Но как раз по вопросу о тиранстве Ивана IV де Ту готов критиковать их свидетельства: „государь, ославленный своими ужасными жестокостями, если верить сообщениям Павла Одерборна и Александра Гваньини, у которых, может быть, больше разысканий, чем истины".

Судя по изложению де Ту Московская (т. е. Ливонская) война оставила сильное впечатление в Западной Европе. Историк считает важным и знаменательным выступление царя в Прибалтике, манифесты его, договоры с ливонскими городами и сословиями, колонизационные попытки русских. Последнее трехлетие войны, успехи Батория и разгром московской державы привлекают острое внимание повествователя; катастрофа Москвы кажется ему одним из выдающихся явлений европейской истории XVI века. В то же время опалы, казни, война со своими подданными совершенно неизвестны западно-европейскому историку, жестокость Ивана IV не ка-

жется чем то из ряда вон выходящим. Нет еще того изображения московского царя в виде злого, до безумия распаляющегося тирана, которое нам так знакомо со школьной скамьи, и которое позволило историкам более нового времени передать многозначительное, строго величественное прозвище „Грозного“ такими обыкновенными словами, как Jean le Terrible, Jwan der Schrekliche.

II.

Усиленное внимание к жестокостям Грозного, суровый уничтожающий нравственный приговор над его личностью, наклонность судить о нем, как о человеке психически ненормальном, все это принадлежит веку сантиментального просветительства и великосветского придворного либерализма. Поэтому едва ли у кого найдешь более беспощадную оценку Грозного, чем это сделал Карамзин, самый яркий в России историк и публицист эпохи просвещенного абсолютизма, который пишет отрицательную характеристику Ивана IV как бы для того только, чтобы оттенить сияющий всеми добродетелями образ Александра I и его „великой бабки“, монархов гуманных и справедливых, исключительно преданных народному благу.

Карамзин в своем изображении дал, можно сказать, классическую схему для личной и правительственной истории Грозного, от которой до сих пор мы не можем отрешиться: до 1560 года это государь прекрасный, добрый и разумный, поскольку он весь под влиянием мудрых руководителей; после 1560 г. прорывается натура порочная, злобно безумная, свирепствующая на просторе, извращающая здравые государственные начала. Русские историки последующего времени, хотя и чуждые идеализации просвещенной монархии, удержали однако неблагоприятную оценку Грозного. Отчасти это случилось потому, что осуждение тирана служило одним из благодарных мотивов оппозиционно-либеральной риторики. С другой стороны, здесь сказывались последствия почти всеобщего увлечения „внутренней“ историей в ущерб „внешней“. Согласно Карамзинскому распределению света и теней, на 40—50-тые. годы приходились реформы, на 60—70-е ливонская война и опричнина; войны вообще представлялись либеральной школе досадным, осужденным на исчёзновение остатком варварства, война за Прибалтику казалась еще особенно непривлекательной, потому что совпадала с периодом безумства Грозного.

Все эти уклоны воззрений понятны и извинительны. Историк зависит в своих взглядах и приемах от сменяющихся политических увлечений и философских настроений. Ведь и наше неотступное желание найти связь между собы-

тиями внешней истории и усложнениями внутренней жизни — результат могущественного влияния современной общественной мысли. Воздействие на исследователя того, что мы называем мировоззрением, настолько сильно, что в литературных источниках, в исторических памятниках он как будто читает и видит то, что хочет прочитать и увидеть, выделяет и оценивает то, что совпадает с его вкусами и направлением интересов. Однако надо признать, что в свою очередь, и памятник оказывает свое давление на ученого, вдохновляет и направляет мысль историка. В историческом документе есть скрытая энергия, обаянию которой мы все невольно поддаемся.

III.

Грозному не посчастливилось на литературных защитников. Пересветов был только отдаленным пророком его политики, рано и бесследно исчезнувшим со сцены. За ним в качестве русских свидетелей идут представители консервативной оппозиции, Курбский, автор „Бесѣды Валаамскихъ чудотворцевъ" и более поздние писатели эпохи смуты, дьяк Иван Тимофеев и князь Катырев-Ростовский.

Все они разделяют один недостаток, наличность которого сыграла роковую роль для памяти Грозного. Они совершенно равнодушны к росту московской державы, ее великим завоевательным задачам, к широким замыслам Ивана IV, его военным изобретениям, его гениальной дипломатии. В этом смысле они удивительно подошли ко вкусам нашей недавней исторической школы, выросшей на идеях пасифизма. Если угодно, эти судьи Грозного похожи на Тацита, Светония, Ювенала, которые, в резких нападках на римское самодержавие, сосредоточивали свое внимание на явлениях придворных и столичных, оставаясь безразличными к громадной стране, к окраинам, к внешней безопасности и славе знаменитой империи. У них только одна тема, бесконечно развиваемая на все лады: осуждение бесчеловечной жестокости московского царя. Они более всего напирают на раскол, который Иван IV внес в жизнь московского общества, разделив его на опричнину и земщину. „И царство свое, порученное ему от Бога, раздѣли на двѣ части: часть ему собѣ отдѣли, другую же часть царю Семіону Казанскому поручи... и заповѣда своей части оную часть людей насиловати и смерти предавати, домы ихъ разграбляти и воеводъ, данныхъ отъ Бога ему, безъ вины убивати, и грады краснѣйшія разрушати, а въ нихъ православныхъ крестьянъ немилостиво убивати даже до сущихъ младенцевъ" (Повѣсть кн. Ив. Мих. Катырева-Ростовского).

Никому из них не приходит и в голову сказать хотя бы одно слово о военном значении опричнины. Эти старинные

московские критики удивительно склонны к моральной отвлеченности. Автор Валаамской Беседы, монах-сторонник партии нестяжателей, возмущенный более всего преобладанием светских интересов в среде высшего духовенства, нападает на самое понятие самодержавия: оно кажется этому мирному анархисту страшным звуком, чрезмерной гордыней перед Богом. У него также, как у Курбского, жажда возврата к патриархальной монархии, когда царь правил в тесном согласии с лучшими постоянными своими советниками.

Курбский не ждет ничего хорошого от новшеств и непрерывных перемен, совершаемых беспокойным духом властителя; он предрекает конец московского государства, которое разрушится вследствие обилия „трудныхъ декретовъ и неудобь подъемлемых номокононовъ“. С Курбским сходится автор „Временника“, излагающего события Смутного времени, Иван Тимофеев. Стараясь дать объяснение причин великой разрухи, он находит первую вину в тех политических переменах, которые были затеяны самим правительством. Пока государи держались повелений, данных Богом, и свято хранили благочестивую старину, московские люди соблюдали полное послушание. Когда же „предержатели... начаша древняя благоуставленія законная и отцы преданая превращати и добрая обычая въ новосопротивная измѣняти“, стал исчезать „естественный страхъ“ подданных. Летописец Смуты хочет сказать, что корни пагубной революции заключаются в поведении самых правителей; их реформы послужили первым подрывом существующего порядка.

Собственно говоря, жалобы консерваторов на изменение старины руками самих носителей власти вовсе не представляют чего-либо нового. За четыре десятилетия до Курбского их высказывал опальный боярин Берсень, возмущаясь тем, что Василий III стал решать дела в спальне, запершись сам третей с какими-нибудь любимцами. Берсень прибавлял мрачное предсказание в том самом духе, как потом Курбский: „государство, которое перемѣняет исконные обычаи, недолговѣчно“.

И мало того, что обвинение самодержавия в крайностях, в нарушении меры повторяется из поколения в поколение, критики относят всякий раз начало политических бедствий очень далеко от своего времени. Если Берсень находил корень „замѣшательствъ земли и нестроеній великихъ“ в приезде греков ко двору Ивана III, вместе с царевной Софией Палеолог, т. е., относил роковое событие к 70-м годам XV века, то Иван Тимофеев, готовый связать начало бедствий с опричниной Грозного, думает очевидно о 60—70-х годах XVI столетия. Однако, как ни существенно расходятся они в хронологии, а все-таки разумеют одно и то же явление, и мы с некоторым удивлением замечаем, что дело идет об

основном факте московской политики, который шаг за шагом сопровождает образование великорусской державы. Получается странное противоречие: великие организаторы Москвы Иван III и Иван IV оказываются в то же время виновниками гибели империи.

Русским историкам новейшего времени, поскольку они доверяли идеям оппозиционеров XVI века, приходилось примирять суровые суждения современников с общей благоприятной оценкой державной политики московского правительства. Казалось, выход из противоречия состоит в том что осторожная система основателей державы была испорчена личным произволом последнего самодержца из династии Рюриковичей. Поэтому, бесчинства опричнины Грозного, его странная беспокойная администрация должны служить объяснением последующей разрухи. Все крупное, что было сделано в его молодости, как бы заглушается и опрокидывается его неистовыми и безумными капризами. В. О. Ключевский видит в опричнине борьбу не с порядками, а с лицами, в самом Иване IV признает лишь талантливого дилетанта. С. Ф. Платонов, хотя допускает в опричнине широкий, и во многих отношениях целесообразный военно-административный план, все таки находит в деятельности Грозного нервическую переброску людей и служебных поручений, непрерывный разгон и разгром, который не давал никому осесть на месте и заниматься делом, а потому в конце концов разрушал основы созданного в ранние годы Ивана IV порядка и таким образом приблизил Смуту.

Не решаясь оспаривать эти глубоко продуманные и блестящие характеристики Ивана IV, мы хотели бы только напомнить о том, что забывалось в эпоху увлечения историков проблемами внутренней истории, а именно что борьба с княжатами, возвышение насчет старого боярства неродовитых людей, усиление военной повинности и податной тяготы происходило не в мирную пору, а среди величайших военных потрясений. В сущности, все царствование Ивана IV было почти сплошной непрекращающейся войной. В 1551—56 г. г. идет борьба за Поволжье. С 1558 г. в течение 24 лет при постоянной угрозе крымского нашествия, тянется крупнейшая из войн русской истории, борьба за Ливонию, за выход к морю, осложненная жестокими столкновениями с Польшей и Швецией. Положение весьма похоже на то, в каком находился Петр I, жизненной целью которого было приобретение того же самого окна в Европу.

Исторический приговор об Иване Грозном во всяком случае не должен быть строже, чем о Петре I, принимая во внимание, что условия, окружавшие московского царя XVI в., были несравненно более тяжелыми. И уж если осуждать Грозного, то придется поставить ему в вину или самую идею

войны, или по крайней мере то, что он не смог во время бросить неудавшееся предприятие, что он сокрушал в Ливонии лучшие силы своей державы. Но чем больше мы будем настаивать на обвинениях такого рода, тем дальше мы уйдем от характеристики Ивана IV, как капризного тирана. Если Грозный заблуждался относительно возможности приобретения Балтийского побережья, то во всяком случае не легкомыслием и не прихотью веет от железной настойчивости, с какой он ведет борьбу, отправляет год за годом в бой свои военные громады и запасы, пускает в ход свое административное и торгово-политическое искусство, действует угрозой и лаской, неотступно и на десятки ладов на население вновь приобретенной колонии, старается привлечь иностранцев, усилить энергию русских промышленников.

Когда речь идет о Петре I, все готовы признать, что его реформы находятся в тесной зависимости от тяжелой всепоглощающей войны. Странным образом под этим углом зрения об Иване Грозном почти не судили: историки пока не осветили нам связи между внешней и внутренней его политикой.

IV.

Московская оппозиция XVI века, обвиняя Грозного в неистовых зверствах, относит их происхождение к его порочной натуре, видит в них особенное несчастие, ниспосланное небом за грехи. Никому из судей не приходит в голову видеть в казнях и погромах Ивана IV цельную обдуманную систему политики. Честь изобретения сложного обвинительного акта в этом последнем смысле принадлежит иностранному наблюдателю, и притом представителю „дружественной нации", которая извлекла всего больше выгод от Москвы и неизменно платила ей самым черствым равнодушием.

Мы разумеем Флетчера и его знаменитое сочинение о русском государстве, появившееся в результате его миссии в Москву 1589 г.

У Флетчера были предшественники, и все они так или иначе отражают английскую манеру обращения с Москвой, как страной азиатской, не ведающей скрытых в ней богатств и существующей на свете как бы ради того, чтобы сделаться предметом эксплоатации для культурнейшей нации мира. Нет ничего характернее наивно-дерзкого предложения англичан передать в их руки все сношения Москвы со Швецией и Данией, тогда как с этими двумя странами существовал издавна прямой дипломатический и торговый обмен. Так было во всем. У английских колонизаторов намечалась в отношении Москвы та самая политика, которая потом отдала в их руки судьбу Индии и сделала громадный южно-азиатский

мир бездыханным трупом, слепым орудием в распоряжении европейских завоевателей.

Англичан мало интересует прошлое русского народа, его сложная драматическая история, его красноречивые полные лирики летописи. Они почти не упоминают о громадных усилиях русских пробиться к морю, о колебаниях судьбы русского империализма. Все это в их глазах факты неинтересные, потому что они ненужны и даже неудобны англичанам. Бичуя и осмеивая косность, техническую и литературную отсталость русских, обвиняя их в непонимании европейской культуры, англичане в сущности довольны таким положением вещей, потому что оно обусловливает рыхлость и неподвижность громадного государства и открывает простор промышленным предприятиям передовой английской нации.

У Флетчера это общее пренебрежение к русским обострено под влиянием неудачи его миссии, а также в результате особенностей его характера и его политической карьеры. Флетчер приехал в Москву через пять лет после смерти Грозного поправлять расстроенное дело английской торговой компании, пострадавшей от своих же агентов, и хлопотать о дальнейшем расширении ее прав и монополии в пределах московского государства. В числе развязных, пренебрегавших вежливостью английских послов, он повел себя по преимуществу дерзко и безтактно при церемонном московском дворе, отказавшись прочитать весь царский титул, за что был лишен личных аудиенций у царя, вынужден вести переговоры с чиновником,—дьяком Щелкаловым, и этим с самого начала поставить себя в невыгодное положение.

Надо было оправдаться в своей неудаче перед королевой, а Флетчер рассчитывал занять место придворного историографа Елизаветы. Он решил, что достигнет той и другой цели, если даст описание московского царства с характеристикой порядков „совершенно непохожих на правление Вашего Величества“, как он пишет в предисловии, если изобразит Москву в качестве страны варварской, управляемой жестокими азиатскими приемами, невежественной, погибающей от застоя и незнакомства с просвещенной Европой; на этом мрачном фоне тем ярче должно выделиться законосообразное, основанное на договоре правление английской королевы.

По Флетчеру, в России народ и правители стоят друг друга, пороки той и другой стороны взаимно обусловлены. Русские лживы, недобросовестны, склонны к насилию, исполнены недоверия друг к другу; русский народ расколот на двое, высшие и низшие классы ненавидят друг друга. А происходит это от жестокого и злонамеренного управления, от сознательной политики правительства, поддерживаемого

хитростью своекорыстного духовенства, которое старается держать народ в невежестве.

Грозный для Флетчера „человек высокого ума и тонкий политик в своем роде“ —чистейший представитель адски макиавелистической политики. Он разгромил родовую аристократию, истребил ненавистных ему „дворян“, вытащил из грязи и неизвестности новых людей вовсе не по народническим побуждениям, а для того, чтобы разжечь вражду классов и тем безнаказаннее господствовать над ними. С той же целью он позволяет своим чиновникам притеснять и грабить народ. Флетчер постоянно возвращается к теме о невероятном утеснении простого народа, хотя не может привести в пользу этого утверждения никаких фактов.

С. М. Середонин в превосходной работе показал, как поверхностны и часто неверны у Флетчера данные, относящиеся к строю московских учреждений, как подчиняется его картина русской администрации предвзятым его идеям. Одним из разительных примеров такого легкомыслия и недобросовестности Флетчера может служить его объяснение роли губных старост, которых он считает помощниками и подчиненными присылаемых из центра наместников и чиновников: он совершенно не вник в характерное для Москвы XVI в. местное самоуправление. Легковесность наблюдений Флетчера лишила его, между прочим, очень для него важной иллюстрации деспотизма Грозного: он ничего не говорит об опричнине, хотя многое в этом учреждении очень подходит для лишнего обвинения царя в узком эгоизме.

Флетчер писал в эпоху рассцвета политического либерализма, представленного в XVI в. талантливой школой „монархомахов“. Их красивые, звучные и смелые фразы о вреде неограниченной монархии, о защите народных прав представителями общественного мнения, о разумности парламентаризма, закрывают часто бессодержательность их собственной программы, аристократическую узость и своекорыстие того класса, к которому принадлежали ораторы и писатели, прославлявшие свободу. В XIX в. историки, увлекавшиеся всеми видами оппозиции государственной власти, легко попадали в колею ранних обличений деспотизма и потому охотно принимали суждения отцов либерализма, публицистов XVI века. Флетчер, не имевший большого успеха в свое время, преследуемый английской торговой компанией, которая боялась, чтобы его резкая критика не испортила ее отношений с Москвой, был очень оценен в XIX в., когда в России настало опять слепое увлечение английскими порядками и английскими модами. Его резкие приговоры, его злые обличения пришлись по душе тем поколениям, которые отворачивались от русского „варварства“ и жили всеми своими помышлениями и желаниями в Западной Европе.

Так завершился суд новейшего времени над Грозным, Своеобразно обошлась судьба с этим богато одаренным детищем умирающей полуазиатской Москвы: полный увлечения европейской культурой, жадно тянувшийся к Западу, готовый бежать туда, чтобы окончить свои дни в прекрасной стране своего идеала, Грозный был разбит самым типичным воителем беспощадного к русским Запада, Баторием; англофил, он получил еще посмертный удар, как бы напутственное проклятие от Флетчера, представителя той самой нации, которой он более всего поклонялся.

ОГЛАВЛЕНИЕ

52
77
81
37 11

